

◆◆ лучшие романы о любви ◆◆

Галина
Таланова

Светлячки
на ветру

Annotation

Что такое моя любовь?..

Откуда она в моем сердце?

Неожиданно ворвалась в жизнь, занавешенную тяжелым серым одеялом туч.

Может, это маленький светлячок пробудил ее?

Вызвал любовное томление... озарил и оживил все вокруг.

А потом, гонимый ветром, улетел, как последний осенний лист с голого озябшего дерева.

Галина Таланова

Светлячки на ветру

© Г. Таланова, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

*Ах, не топчи траву!
Там светляки сияли
Вчера ночной порой...*

Кобаяси Исса

(начало XIX в.)

1

...Над южной Ривьерой стояло странное свечение. Сотни маленьких зеленоватых трассирующих огоньков парили в ночном небе, вспыхивая то ярче, то приглушённое, источая прохладное сияние. Вика застыла заворожённая. И вдруг, как по мановению дирижёрской палочки, в пыльных кронах городских подстриженных тополей зажглись сотни ответных огоньков. Фонарики в кронах деревьев будто посылали азбуку Морзе, которая неожиданно стала синхронной с сигналами светлячков, парящих над аллеей городского парка. Казалось, кто-то невидимый управляет этой волшебной светомузыкой.

Кавалеры парили теперь над кронами деревьев, мерцающих дивным светом, посылая частые и короткие сигналы своим подругам, – и те отвечали, как маяки во тьме: путь свободен.

Маленькая Вика гуляла с папой по городскому парку, будто по сказочному лесу. Вся трава на газонах была усыпана маленькими пульсирующими фонариками, излучающими нежно-зелёный свет. Они шли по светящемуся ковру, словно по звёздному небу. Стволы деревьев были подсвечены миллионами маленьких прожекторов и казались театральными декорациями. Вот сейчас из-за той высокой туи вылетит маленький эльф, протягивающий ей цветик-семицветик, – и она сможет исполнить семь своих заветных желаний... Надо побыстрее решить, что же у неё самое желанное... Огненные искры плавали в чёрном пруду, словно ряска, намазанная люминесцентной краской. Зелёные огоньки кружили над тёмной водой, толкались, отражались в ней пляшущими пятнами, расцветивая её, точно звёздочки взорванных петард. Тёплые южные сумерки, казалось, были пропитаны каким-то космическим сиянием.

– Папа, ты, как тот волшебник, привёл меня в Изумрудный город?

– Конечно. Великий волшебник Гудвин, как ты помнишь, был обычный человек, занесённый в волшебный город на воздушном шаре. Надо только, дочка, уметь быть волшебником и вовремя надуть воздушный шар, на котором можно улететь в райскую страну. И вовремя надеть на всех зелёные очки – и тогда в их жизни никогда не будет чёрно-белой зимы, а всегда будет лето, где растёт трава...

Как давно это было... А кажется, что совсем-совсем недавно... И зелёные очки она так и не научилась вовремя надевать... Только если на неё надевали их другие, более успешные, убеждённые оптимисты, отметающие от себя всё, что заслоняет своей тенью волшебный

свет. Она когда-то считала таких людей неглубокими, а сейчас – не знает... Может, в этом и была их мудрость: видеть только зелёный свет и никогда – красный. Ну и пусть, что зелёный свет уже мигает, они всегда знали, что успеют проскочить: вылетев на перекрёсток, можно двигаться и на красный. И чем быстрее, тем лучше... Пусть другие стоят у стоп-линии... А их уже и ветер простыл... Ищи ветра в поле...

С горечью подумала: «Надо ли помнить о том июле, который давно истаял, как след реактивного самолёта в лазоревой дали, блеснувшего иголкой, нырнувшей в стог сена?» Проклятое, единственное однажды, о котором не догадываешься, когда оно есть. Всё бежим куда-то вверх, перебирая ногами, как белка в колесе, – мелькающие спицы, ступеньки эскалатора, равнодушно движущегося вниз. Сначала рано, потом некогда, затем поздно. Из каких черт, отражений и силуэтов, случайных, как растерянная улыбка, мелькнувшая в вагоне отходящего поезда, как беззаботная игра света и тени, судьба плетёт тенёта? Одна сухая травинка цепляется за другую, другая громоздится на третью. Всё связано, сцеплено, вздрагивает под розгами дождя, прижимается друг к другу в поисках тепла, шуршит, как сторающие в огне пожелтевшие письма, колышется и переливается радужной плёнкой на мыльном пузыре.

Жизнь – стебель со множеством возможностей, которые отмирают и опадают одна за другой, как высохшие листья, разноцветными лоскутками, парящими на промозгом ветру. И вот уже ничего не остаётся от того, что могло бы быть, кроме голого корявого ствола в старческих бородавках и бляшках, в который превратился когда-то тонкий стебелёк, выстоявший на ураганном ветру и нарастивший слой за слоем кору. Теперь ствол ветвится такими же голыми и уже наполовину сухими ветками, похожими на косточки извлечённого из земли скелета. Но ты по-прежнему надуваешь воздушный шарик иллюзий и бежишь за ним, как за воздушным змеем, зачарованный чужим полётом, радостно размахивая руками и отрываясь от земли в лёгком беге помолодевшего тела. И вдруг чувствуешь, что шарик вырывается из твоих расслабленных иллюзией счастья пальцев. И ты видишь, как он летит прямо на эти голые ветки, ощерившиеся, как штыки. И сердце сжимается в комок мёрзлого грунта, падающего с деревянным стуком на крышку, под которой заколочена вся твоя жизнь и любовь. А душа ещё долго будет прилетать по ночам в форточку, жалобно скрипящую от ветра, скользить по лунному лучу и опускаться, как ночная бабочка, на твой лоб, тревожа качанием и трепетом ещё не забытых крыльев. Ты видишь этот уменьшающийся шарик – и понимаешь, что сейчас он будет проколот встреченной веткой. И ещё одна иллюзия лопнет, как мыльный пузырь. А если повезёт – то шарик застрянет где-то в осторожных объятиях веток и будет качаться там, как в люльке, потихоньку сдуваясь и уменьшаясь в размерах, пока не выскользнет съёжившейся резинкой и не затеряется в пёстром ковре опавшей листвы, похожим на сухие листья лоскутком. А на деревьях останутся висеть чёрными обугленными листьями только вороны.

За окном потягивается день, небритый, опухший, смотрящий исподлобья и заливающийся слезами. Укрывшись за этими облитыми дождём окнами, чувствуешь себя точно потерявшаяся лодка, которая медленно скользит по туманному океану времени, чтобы исчезнуть в нём навсегда.

Дождь лил и лил две недели кряду... Она смотрела на струи дождя, барабанившие по листьям, словно по клавишам компьютера, и думала о том, что ход своей жизни она изменить не в силах. Было настолько сыро, что бельё не могло высохнуть неделю. Как только дождь давал себе передышку, она старалась спуститься вниз с глинистой горы и поплавать в уже по-осеннему, хотя был разгар июля, прохладной воде, но дойти до места купания было почти невозможно. Галоши тут же утопали в глине, наворачивая на себя килограммы балласта. Прыгала в холодную воду. Моментально захватывало дух, но вскоре она привыкала и могла плыть долго...

Каждый год, как только заряжали дожди и температура падала, начиналась тоска. Тоска приходила внезапно и бесповоротно. Она обнимала своими холодными ладошками, преданно заглядывала в глаза и властно брала за руку. Иногда она даже нежно целовала в темечко и гладила по волосам. Этот мелкий осенний дождь, играющий на листьях-клавишах, выводил из себя монотонностью мелодии, от которой щемило сердце. Тут же перед ней всплывали сцены из её детства, юности, молодости и последних лет из тех, когда все её близкие были здоровы и живы. Она снова испытывала вину за своё невнимание к ним. В жизни всё бежим куда-то. Сначала рано, потом некогда, потом поздно. Тогда она думала: «Это тоже скоро пройдёт. Пройдёт отпуск, пройдёт и эта морока. Да и вся жизнь пройдёт, как её и не было. Как не было той девочки с жиденскими косицами с обсечёнными хвостами от вплетаемых в них капроновых бантов... Как не было и столь нелюбимых ею атласных лент, что мама купила, чтобы не секлись волосы... Как не было той толстенькой девочки, которую обстригли почти под мальчика, чтобы наконец избавиться от больных волос, – и она проплакала двое суток... Она тогда даже ночью просыпалась – и трогала мягкую щёточку своих волос, таких коротких, что ей казалось, что голова обтянута бархатной шапочкой, и всё не верила, что у неё почти нет волос. Потом мальчик из её класса, который ей очень нравился, спросил: «Что, парик теперь носить будешь?» Ей тогда хотелось провалиться сквозь пол и больше не ходить в школу вообще, пока у неё не отрастут её пусть жиденские, но волосы, какие носят девочки.

Она помнит свой детский страх, что её близкие могут исчезнуть из её жизни. Как-то её подруга, старше её на пять лет, сказала про её маму, имевшую порок сердца, обнаруженный у неё уже после замужества: «Молодая, но... В любой момент может умереть». Её тогда эти слова просто потрясли. Как это её молодая, красивая и всегда вкусно пахнущая мама может умереть? Она проплакала всю ночь, лёжа без сна. И утром, разглядывая розочки на обоях, снова со страхом летящего с крыши думала о том, что сказала ей подруга. Нет, этого просто не могло быть. Потом долго, снова и снова прокручивала услышанное, словно пускала по полу юлу, и заморожено смотрела, когда же та упадёт. Позднее она не раз прокручивала то состояние необъяснимого страха, что мамы может не быть, и даже иногда становилась на колени и молилась. Нет, она знала, конечно, что Бога нет, и ещё её дед это понял когда-то давно и объяснил своим детям и внукам, но вот ей почему-то казалось, что, если она произнесёт это: «Чтоб никто не умер!», то всё так и будет непременно. Она помнит это ощущение костлявыми детскими коленками холода и жёсткости деревянного пола, выглаженного до блеска масляной краской. Холода именно деревянного, а не бетонного, не кафельного, а такого лёгкого и отрезвляющего, что заставляет лишь чуть-чуть поёжиться, словно от порыва северного ветра, внезапно рванувшего полы пальто и потащившего за собой шарф, будто воздушного змея.

Повзрослев, она стала загадывать это желание на Новый год. Загадывала каждый год,

торопясь произнести про себя, пока куранты отстукивают двенадцать ударов.

Она стыдилась в детстве того, что они жили благополучно. Она стеснялась того, что её укладывают днём спать, что не пускают летом с детсадом на дачу и позднее в пионерлагеря. Стыдилась того, что у них была домработница Маруся. Впрочем, домработница тоже этого стеснялась. Когда они гуляли с ней по городу, то домработница, она же няня, всегда говорила, что она её тётя. Она её так и звала, как взрослые: Маруся, хотя Маруся была даже старше её бабушки и дедушки. Маруся уже вырастила её маму, потом работала ещё у кого-то, а затем снова поселилась у них. Познакомилась с ней бабушка в войну, где в эвакуации жила с маленькими детьми и шила бельё для фронта. Своей семьи у Маруси не было, квартиры тоже не было. Бабушка встретила её как-то случайно на рынке после войны, когда дети уже подросли. Была она без работы, скиталась по хозяевам, но последние её хозяева расторгли с ней договор. Она никогда не говорила почему... Как говорила бабушка, ей не столько нужна была помощница, сколько она пожалела Марусю. Маруся в тот же день пришла в их дом вечером с пожитками и поселилась на кухне на старинном дореволюционном зелёном сундуке, обитом незатейливым орнаментом из жести, напоминающим золотой. Маруся не только готовила, убиралась и стирала, но и сидела с маленькой Викой, жила с ней на даче всё лето, иногда до октября, пока девочка не пошла в школу. На даче няня косила траву по груды; выращивала малюсенькие огурчики, которые называли пупсытами, и зелёные помидоры, что никогда не успевали созреть; варила варенье из зелёного крыжовника размером с мелкую сливу, отщипывая от него почерневшими ногтями хвостики, разрезая на половинки ягоды и выковыривая зёрнышки алюминиевой ложечкой от кукольного сервиза; закатывала компоты, ставя трёхлитровые кубанчики стерилизоваться в печку-прачку; полоскала бельё в мутной илистой речке с кормы лодки. Вика никогда не видела, чтобы та читала. Зато она очень любила обшивать её кукол. Ни у кого из Викиных подруг не было такого богатого кукольного гардероба. У её кукол было всё. Настоящая постель с матрасом, ватным стёганным одеялом, покрывалом из парчи и маленькой подушечкой с кружевной наволочкой. У её кукол было не только два маленьких чемодана всяких разных красивых платьиц, но и трикотажный шерстяной костюмчик из свитера и брючек, несколько носочков и вязаные туфельки, беретки, панамки и шапочка с ушками и помпоном на макушке. У неё было даже целых две настоящих, правда, из искусственного меха, шубки, две меховые шапки: беретик и шапочка-ушанка; унты, несколько вязаных шарфиков и варежки, сцепленные друг с другом шнурком от ботинка. Вика обожала своих кукол переодевать. За всё её детство ей подарили всего двух кукол. Одна была Оксана с длинными рыжими волосами, которые можно было заплетать в настоящие косички и делать из них разные причёски, а другая – пупсик Ляля, похожая на ребёнка лет двух. Вообще эти две её куклы были у неё как дети. Она даже потом думала, что родители специально не покупали ей новых кукол, ведь детей не меняют на других. Она готовила им еду из трав и цветов, песка и камушков, кормила три раза в день из игрушечного фарфорового сервиза, укладывала спать на два часа днём, лечила их старыми просроченными таблетками, делала им перевязки и уколы, мыла в тазу, ходила с ними на прогулки, одев по погоде: зимой – в шубки, осенью – в пальто, летом – в нарядные платьица.

Марусю потом «выдадут замуж» за прадеда, фактически подарив ей квартиру. Получив настоящее свидетельство о браке в зелёной книжечке с гербом, Маруся отправит деда жить за шкаф, опустошит все его сберкнижки и через год счастливо его похоронит. К ним она больше не придёт никогда, а при встрече на улице будет отворачивать своё пьяное и опухшее лицо, делая вид, что она их не видит. Как-то соседка расскажет им, что она наблюдала, как

грузчик надел на голову Маруси картонную коробку из-под творога, когда та что-то злобно (что – она не расслышала) ему сказала. И Маруся продолжала потом что-то кричать матерное изменившимся трубным голосом из-под коробки.

Первая любовь пришла к ней во втором классе. Объектом её любви был сосед по парте. Она скучала, если он болел и не приходил в школу. Ей очень хотелось поделиться с кем-то своей любовью. Однажды, когда они гуляли с папой тёплым весенним вечером по откосу, где небо над головой было так густо усеяно звёздами, что казалось ей чёрным бархатным куполом, усыпанным металлическими блёстками, – и почему-то завораживало её наподобие новогоднего сказочного представления, которое вёл звездочёт в такой же, как это бархатное небо, чёрной мантии, расшитой люрексом, она сказала отцу, что ей очень нравится Андрюша, боясь, что тот посмеётся. Но отец ничего не сказал. На 23-е февраля она подарила ему вырезанную на опоке и раскрашенную цветными карандашами картинку и открытку, на которой написала: «Целую». Когда её подруга спросила, зачем же она так написала, Вика просто не поняла. Она не собиралась целовать Андрюшу, но искренне думала, что все открытки так подписывают. Все открытки от бабушки и дедушки, тёти и дяди всегда были с такой подписью. А Андрюша был страшно горд, что получил открытку с таким автографом.

Когда ей подарили первую комбинацию: ярко-розовую с очень красивой гофрированной оборкой из капрона и плотным ажурным кружевом, ей очень хотелось, чтобы Андрюша увидел эту оборку, и она всё время старалась сесть за партой так, чтобы приподнять юбку скучного коричневого платья.

В третьем классе её пересадили за другую парту – и любовь рассыпалась, как пересушенный лист, пришитый в гербарии, что им задали в школе собрать за лето. Андрюшу убьют сразу же в их первое свободное от школы лето где-то в подворотне в пьяной драке. Он к тому времени уже здорово пил. И бывшие одноклассники будут передавать друг другу эту страшную историю по телефону.

Следующей её школьной любовью станет мальчик, появившийся у них в пятом классе. Этот пришелец, очень высокий, в чёрных роговых очках, всегда в безукоризненно белой рубашке, привлёк внимание половины девочек из их класса. Она не составила исключения. Мальчик был из интеллигентной семьи, а она уже тогда чуяла таких всем своим женским нутром. Он не был отличником, но учился хорошо. Впрочем, у них вообще не было отличников. Она ловила боковым зрением его долговязую фигуру, удивляясь тому, как её некрасивая подруга, похожая на мартышку: с худыми и кривыми ногами, со сколиозным позвоночником и серым лицом, густо усыпанным зёрнышками угревой сыпи, напоминающими ей крупинки рассыпавшегося пшена, крутится вокруг юноши и даже привязывается к нему почти каждый день по дороге до дома. Подруга эта хвалилась ей, что она даже была несколько раз у него в гостях. Через три года эта подруга перемахнёт через перила девятого этажа, неуклюже взмахнёт руками и оставит у неё до конца жизни чувство вины за свою слепоту и подростковый максимализм, которые она иногда чувствовала, как песок, насыпавшийся в ботинок и натирающий через капроновый чулок нежную кожу.

Впрочем, интерес к этому самому высокому юноше их класса у неё органично сочетался с влюблённостью в другого мальчика, однажды пославшему ей воздушный поцелуй на

большой перемене. Интерес этот, видимо, был взаимный, так как в пятом классе, после школы, зимой, в оттепели, они каждый раз после волшебного снегопада из удивительно крупных резных снежинок, тающих на нежной коже и оседающих на красном помпончике её вязаной шапки, точно взбитый белок на ягодном коктейле, играли в снежки, заливаясь смехом и пытаясь залепить в другого белый шар, который при попадании в цель сплющивался от удара, точно пластилиновый. Игра в снежки всегда кончалась барахтаньем в сугробах. Захлёбываясь смехом и снегом, они толкали друг друга в пуховые перины, взбитые до небес. В восьмом классе она уже готова была пропустить праздничный вечер в школьном зале, так как делала с ним вдвоём новогоднюю стенгазету – и столь близкое общение заменяло ей и весёлые выстрелы хлопушек, рассыпающих по натёртому и пахнущему воском янтарному паркету радужные кружочки конфетти; и серебристую мишуру, стекающую отовсюду проливным дождём; и золотистые шары, в которых можно было разглядеть своё зеркальное отражение, где ты вся маленькая, будто Дюймовочка, – и только твоё потешное лицо с непомерно крупным носом строит тебе забавные гримасы; и подмигивание разноцветных фонариков на настоящей живой ёлке, пахнущей хвойным лесом, где непременно можно встретить чудище, протягивающее в мохнатой лапище аленький цветочек, жарко пылающий, будто сердце Данко. Но стенгазету они в праздничный вечер не делали: уже тогда бывший её одноклассник, добровольно перешедший в параллельный класс, так как там осталось мало мальчиков после ухода большинства из них после восьмого класса в ПТУ, предпочёл шумную вечеринку обществу с ней, склонённой над стенгазетой и старательно налепляющей на ватман цветные осколки разбитой ёлочной сосульки, уже не отражающей лица, но пускающей солнечные зайчики от лампы дневного света на потолок. Ей было до слёз обидно... Но, узнав, что этот мальчик, вместо ваяния с ней стенгазеты, идёт на вечер, тоже пошла с ним – и они вместе танцевали.

Танцевать она толком никогда не умела. Два года тому назад её учила исполнять современные танцы одноклассница, с которой они даже никогда не дружили, но та почему-то позвала её к себе домой и с радостью объясняла, как надо делать незамысловатые телодвижения: выставлять ноги, подёргиваться и махать руками. Ей тогда это показалось сложно, она потом дома ещё долго тренировалась и даже разучила несколько сложных фигур, которые нашла в листке отрывного календаря, висевшего у них на кухне. Она уже опробовала своё умение быть в общей толкучке быстрого танца на двух вечеринках, а вот на медленный танец её ещё не приглашали. Ей повезло: партнёр её действительно вёл, а не переминался неуклюже с ноги на ногу, норовя наступить на новые туфли-лодочки своей партнёрши. Она чувствовала его сильную руку на своей осиной талии – и сердце замирало в груди съёжившимся мышонком, увидевшим на пороге комнаты вальяжного раскормленного кота, совсем не обращающего на неё внимания после хозяйской мойвы. Держалась за его плечи, будто за верёвки на качелях. Качели взлетали всё выше и выше – и падали: она летела в пропасть, а её сердце не поспевало за ней и оставалось парить и дожидаться её в зелёной хвое сосны, к стволу которой были прикреплены качели. Уже слегка сладко кружилась голова. Цветные огни дискотеки раскрашивали школьный зал в настроение новогоднего фейерверка, хотя до Нового года оставалось ещё два месяца. Но она не видела этих огней: только лицо юноши, становящееся то светлым, то отступающее в тень, то зеленеющее фосфорическим светом и напоминающее ей какого-то пришельца с загадочной улыбкой из фантастического фильма. Почему-то страшно стеснялась того, что его ладонь постоянно натыкалась на пластмассовую застёжку на спине, и его кисть казалась грелкой, наполненной

кипятком. Мысли путались и сбивались. Она боялась попасть не в такт и еле поспевала за ним; жаркий шёпот обжигал ухо и шевелил горячим воздухом её локоны, словно ветерок на раскалённом пляже, но слов она почти не понимала: просто они проплывали мимо, подхваченные громозвучной мелодией, точно откатывающей морской волной.

Была в её жизни ещё одна детская любовь, но о ней позже... Вика боялась её тревожить, как рану, не зажившую, но прикрытую присохшей марлевой повязкой.

Все детские влюблённости развеялись, как утренняя молочная дымка, превращающаяся в холодные капли прозрачной росы на дрожащих от ветра листьях.

Студенческие годы пролетели за учебниками, хотя больше половины её сокурсников к четвёртому-пятому курсу уже имели семью и даже детей. Новый год, проведённый за тетрадками, исписанными корявым размашистым почерком без пропуска строки (чтобы больше поместилось), был в порядке вещей. Она не смотрела новогодних передач, не участвовала в шумных студенческих вечеринках, на которые многие из её ровесников сбегали из тихой семейной бухты, где все большие корабли давно спали на приколе, по праздникам превращаясь в плавучие рестораны. Они чувствовали себя маленькими парусниками, ищущими любого встречного ветра. Каждый Новый год она валялась на диване и зубрила лекции, затыкая уши турундами из ваты и подушкой, чтобы не слышать шумной комедии, которую крутили по телевизору, и глупых оптимистичных песенок, что звёзды советской эстрады выкрикивали со сцены «Голубого огонька». Даже ёлку в студенческие годы она перестала наряжать, хотя раньше так любила доставать из коробки блестящее хрупкое чудо: ёлочные шары с забавным отражением; разноцветные сосульки, наполовину прозрачные, а наполовину покрытые зеркальной краской, пускающие радужных зайчиков от ёлочных лампочек, мигающих, точно вывески на магазинах в ночном городе; пузатых зайчиков с поролоновыми ушами и стеклянных снегурочек в шапочках, присыпанных блестящей крошкой, напоминающей настоящий снег, которых надо было посадить за прищепку, похожую на бельевую, на ёлочную лапу; серебряный дождь, стекающий по рукам шелестом листвы, и золотистые гирлянды, причудливо перекрученные в гимнастических па.

Любовь проходила где-то стороной. Как будто видишь надвигающуюся грозу и почти уверен, что вот сейчас она тебя накроет, но нет, ветер проносит сизую тучу мимо стаей низко летящих голубей, хотя вдаль по-прежнему гроыхает и полыхают молнии, словно загоревшееся сухое дерево с обламывающимися ветвями. Она хотела бы влюбиться, но как-то так получилось, что мальчиков на её химическом факультете училось мало, большинство из них были благополучно пойманы более предприимчивыми, чем Вика, охотницами уже на первом-втором курсе. Вика не очень-то и обращала внимание на этих своих сокурсников. Учились они, за немногим исключением, плохо – а у Вики, вечной отличницы и дочки профессора, идеал «принца на белом коне» должен был иметь семь пядей во лбу. Нет, конечно, на факультете были умные мальчики, но Вика в те годы была робкой, стеснительной, и порой ей даже хотелось стать бесплотной тенью. Иногда она издалека изучала какого-нибудь отличника-старшекурсника, про которого ходили восторженные слухи, но познакомиться ближе возможности не было. Соприкасались взглядами в шумном коридоре, набитом студентами, но не притягивали друг друга, а лишь чиркали магнитным

пропуском: проход открыт. Скользили по лицу, точно лёгкий майский ветерок, вызывающий эйфорическое настроение от предчувствия скорого тепла и долгожданных перемен. Замечала юношу издалека, выхватывала взглядом как яркое, не сливающееся с серым фоном пятно, искала в мутном потоке протекающих мимо лиц. Проходили мимо друг друга, иногда Вика оглядывалась. Она просто не представляла, как это можно запросто подойти и познакомиться.

С первым мужем её буквально свела куратор их студенческой группы Наталья Ивановна, энергичный и оборотистый доцент, жена какого-то милицейского чина. Куратор эта при первом же знакомстве со своей группой попросила всех студентов написать ей, кем у них работают родители. У неё было два сына, один – студент политеха, а другой – военный, преподававший в училище тыла. Младшего, студента Петю, Наталья Ивановна и определила ей в женихи, когда Вика уже перешла на пятый курс.

5

Петя был совершенно домашний мальчик, полностью находящийся во власти матери, сопротивляться воле которой у него не было ни сил, ни желания. Наталья Ивановна купила билеты в драмтеатр, вручила один сыну, а другой отдала Вике, предварительно устроив той допрос, почему она не выходит замуж и есть ли у неё мальчик. Получив отрицательный ответ, Наталья Ивановна сказала, что Вика ей очень нравится и она хочет познакомить её со своим сыном.

Петя оказался коренастым увальнем с уже наметившимся брюшком, неловким и неуклюжим, на полголовы ниже её, когда она была на каблуках, в очках с такими толстыми стёклами, что, если смотреть ему прямо в лицо, то чудилось, что через линзы видишь как бы второе лицо: узкое и вытянутое в дыню. Он показался Вике интеллигентным и добрым. Они смотрели какую-то глупую комедию, Вике было скучно, а Петя краснел, становясь похожим на созревающий помидор, и радостно повизгивал, точно поросёночек. Вика вдыхала запах пыли, выбиваемой из бархатной обивки кресел тяжёлыми телами, и искоса разглядывала своего соседа по партеру. Заметила, что на прыщавом лбу у того выступили капельки пота, то ли от возбуждения, то ли от духоты, стоящей в зрительном зале. Чёрные жидкие кудряшки прилипли ко лбу с уже наметившимися залысинами. Руку он положил на подлокотник и толстенькими пальцами-сосисками почти касался её крепдешинового платья.

В антракте Петя повёл её в буфет. Пили чуть тёплый слабо подкрашенный чай с пирожными «корзиночка». Петя поведал, что интересуется иглоукалыванием и недавно ходил на лекции профессора Вогралика. Он даже может снимать боль и лечить некоторые болезни, находя нужные рефлекторные точки. У Вики от духоты болела в тот день голова – и она попросила снять эту боль.

Петя велел смотреть ему на переносицу, а сам дотронулся до её межбровья, растирая его круговыми движениями сначала по часовой стрелке, а затем против. После этого несколько раз надавил на точку.

Потом взял в свои неуклюжие лапищи большой палец её правой руки и нажал на центральную точку ногтя шесть раз, а потом одновременно ещё на боковые стороны верхней части пальца. Надавливание повторил шесть раз. То же самое проделал с её левой кистью.

Вика с удивлением почувствовала, что боль прошла. Раздался звонок – и они пошли в

зал. После спектакля Петя проводил её до остановки и обещал позвонить.

Дома мама устроила допрос с пристрастием. Услышав, что отец у мальчика работает в милиции, пожала плечами:

– И зачем это тебе?

Через два дня Петя позвонил – и они просто гуляли по городу и рассказывали друг дружке о себе. Был май и уже по-летнему тепло. Она старалась идти подальше от Пети, чтобы никто на улице не подумал, что это её кавалер. Так, случайный знакомый, коллега, они идут по делам. В принципе, он был ей симпатичен, но чтобы иметь такого тьюфяка под боком... Да и девочкам похвалиться особо нечем... Но они всё равно наворачивали круг за кругом по городу. Болтать с Петей Вике было даже интересно.

Договорились, что он позвонит ей через пару дней – и они погуляют ещё.

Он действительно возник, но они не успели пройти и трёхсот метров, как начался дождь и шквалистый ветер, пронизывающий до костей так, что ей казалось, что она только что вылезла из реки и стоит голая на ветру. Петя предложил пойти к нему в гости: сидеть в кафе было в те годы дорого, а расходиться по домам не хотелось. И хотя она совсем не горела желанием встретиться с его мамой, она согласилась.

Жили они в частном доме с небольшим садом, огороженным от праздных глаз прохожих высоким забором из сбитых встык досок. Сам дом был выстроен с купеческим размахом: трёхэтажный, просторный, все его обитатели имели по своей комнате.

Родителей Пети, к облегчению Вики, дома не оказалась, но был старший брат, который и открыл пришельцам дверь. Брата звали Владимир, и они были абсолютно непохожи с Петей. Высокий стройный блондин, широкоплечий, как атлант, без очков.

– Братан, ты, я гляжу, с дамой... А я тут глинтвейном развлекаюсь. Из отцовской вишнёвки. Бутылка треснула. Двинули чем-то, наверное, в кладовке. Вот я и решил продегустировать, чтобы не пропала.

Устроились в гостиной втроём. Владимир принёс кувшин с горячим варевом, поставил его на журнальный столик, предварительно застелив его золотистой клеёнкой. Принёс три высоких, прозрачных, разрисованных золотой вязью бокала с ручками, блюдечко с нарезанными кружочками апельсина и лимона, тарелку с трубочками корицы. Бросил цитрусовые в фужеры. Разлил глинтвейн. Пили за знакомство и светлое будущее. Горячий глинтвейн растекался по закованым конечностям, разогревал сосуды. Вика чувствовала, что вся она медленно оттаивает. Вот уже и румянец хлынул к щекам, вот румянец начал стекать вниз на тоненькие ключицы... И вот она уже вся горит и пылает, точно заболевает и поднимается температура. В висках стучит резиновый молоточек, мягко так, тюк-тюк, будто мячик от стенки отскакивает. Она уже утопает в тепле, словно сидит, обложенная пуховыми подушками. Владимир рассказывает какие-то смешные истории из своей военной службы. Вике весело и хорошо. Тянет нектар через трубочку и поглядывает на обоих мужчин. Отмечает, что Владимир красивее своего младшего брата и раскованнее его. Пётр скромно сидит, вжимаясь в диван и поглаживая прыгнувшую ему на колени большую серую кошку, блаженно зажмуривающуюся от удовольствия. Вике тоже хочется расслабиться и вот так же, как эта кошка, счастливо мурлыкать от ласки мужской руки... Хорошо, что Натальи Ивановны нет дома, а то бы она чувствовала себя не в своей тарелке...

Просидели тогда за глинтвейном часа три, но дождь на улице так и не кончился. Надо было собираться домой. Петя пошёл её проводить, а она вдруг подумала, что ей хочется, чтобы это сделал Владимир. По дороге молчащий весь вечер дома Петя разговорился,

рассказывал смешные истории из своей студенческой жизни... Ей уже не было холодно, хотя мелкие капли дождя выплясывали на раскрытом над ними куполе зонтика дикий папуасский танец, и ветер пытался вывернуть чашу зонтика так, чтобы в него можно было собирать льющуюся с небес дистиллированную воду.

Они встречались с Петей ещё четыре раза. Просто гуляли по городу, рассказывали о своей жизни. Темы разговора находились уже легко, всплывали сами собой, точно большая старая коряга, и они плыли по шумным улицам города, держась обеими руками за эту корягу и весело бултыхая ногами, порождая фонтаны брызг...

Потом Петя пригласил её в гости на дачу... Там были и Наталья Ивановна с мужем, и их старенькая бабушка, сидевшая на веранде и смотревшая на мир совершенно выцветшими глазами, напомнившими Вике высохшую на солнце полынь-траву. Бабушка за два выходных спрашивала её раз пять:

– А ты кто?

А на шестой раз спросила:

– А вы с Владимиром когда свадьбу играть будете? Я ещё правнуков покачать хочу.

Вечером задумали делать шашлыки. Петя стал разводить костёр, но набранный хворост был настолько сырым от пролившихся дождей, что белый едкий дым, похожий на туман, плыл по саду, стирая и растворяя лица. И вот она уже плохо различала, где Петя, а где его старший, такой непохожий на него брат... Всё смешалось и потеряло свои очертания. Голова кружилась от горьковатого дыма и сладкой вишнёвой наливки. Щёки опять пылали, словно она целый день подставляла лицо ветру и знойному южному солнцу, потеряв время и не замечая, что давно облучилась... Голоса выплывали из дыма и несладким дуэтом вплетались в скрип вековых осокорей, которые раскачивал ветер. Дым постепенно исчез, костёр горел всё ярче и ярче, сумерки сгущались на глазах, превращая деревья в будто обугленные и застывшие на пепелище заката.

Она буквально напоролась на взгляд Владимира, как на блеснувший в сумерках клинок. Клинок был занесён, его держали наготове... В блеске его стали отражаться её растерянное лицо и съёжившаяся от незнакомого и сильного ветра фигурка.

Через два дня ей позвонил Владимир – и она теперь уже с ним гуляла по городу. На её вопрос, знает ли Петя, что он позвал её на свидание, Владимир буркнул:

– Ещё чего!

Это была какая-то странная прогулка. Они совершенно не знали, о чём говорить. Если младший брат что-то захлёб рассказывал: то из теории иглоукалывания, то из своего пионерского детства, то из жизни родителей, – то Владимир больше слушал, что вещает она. А она постоянно пробуксовывала и не могла найти темы для разговора. Заговаривала о прочитанных книгах – Владимир тут же переводил разговор на проезжающую мимо них иномарку, что были в те времена большой редкостью. Вика растерянно замолкала и ждала, что он сам что-нибудь расскажет. После довольно продолжительной паузы, за которую она успевала послушаться шороха проезжающих машин, Владимир капризно говорил:

– Мне кажется, что ты ждёшь, чтобы я тебя развлекал...

И она тогда снова начинала что-нибудь вспоминать уже из своей жизни, но постоянно спотыкаясь и ловя себя на мысли, что почему-то совершенно теряется, о чём говорить: точно идёт по болотцу, которое сотворили ключи, сбегаящие с горы средней полосы России; идёт, подбирая широкую цветастую с оборкой юбку, осторожно пробуя почву под ногами носочком, прежде чем переступить с кочки на кочку.

Владимир предложил ей зайти посидеть где-нибудь в кафе. Зашли в какую-то кафешку сбоку кинотеатра. Владимир спросил, не взять ли ей что-нибудь выпить. Вика отказалась и попросила кофе. Он принёс ей кофе с эклером и коктейль с ликером. Себе взял огромную кружку пива с орешками и бокал красного вина. Она хотела проехаться по поводу того, что тот мешает пиво с вином, но почему-то не сделала этого. Смотрела на него, как кролик на удава. Это было непонятно, необъяснимо, непостижимо, но он ей нравился. Он был, пожалуй, красив, но она никогда не западала на красивых мальчиков. Она не чувствовала у него никакого особого интеллекта и ума, но была точно загипнотизированная. Она однажды ходила на представление одного гипнотизёра. Там вышла на сцену женщина и выполняла всякие смешные команды месмериста: скакала, как кенгуру, на задних лапах по сцене. Так и она... не видела, как Владимир, выпив и пиво, и вино, пока она только справилась со своей маленькой чашечкой кофе, пошёл себе за добавкой... Вернее, она всё, конечно, про себя отмечала, но отгоняла сомнения, как муху, садящуюся на лицо спящей, досматривающей последний сладкий утренний сон... Отогнать не получалось – муха неизменно возвращалась и щекотно ползала по щеке. Тогда спросонья нехотя перевернулась на другой бок к стене и с головой укрылась одеялом – один нос торчит.

Вышли из кинотеатра в тёмный колодец ночного города, в котором отражались огни реклам и вывесок. Было промозгло и дул осенний северный ветер, рывками толкающий её в спину. Точно пытался сдвинуть с места неподъёмную для него ношу. Она качалась от очередного удара – и сердце раскачивалось вместе с ней. Остановились на откосе. Смотрели, как поблёскивает чернильная река, мигающая огнями последних проходящих по ней сухогрузов. Владимир взял в ладони её лицо и заглянул ей в глаза. Она почувствовала, что будто подвернулась нога, она оступилась и летит куда-то с горы, теряя равновесие и неловко взмахивая руками, как птенец, выпавший из гнезда и ещё не научившийся летать. Его губы были как упругий виноград «дамские пальчики». Кто-то будто поднёс к её рту кисточку винограда и шутливо щекотал её. Виноград был переспевший и уже забродивший. Пахло кислым вином и мускатными орешками. Вообще-то запах вина был ей неприятен с детства, но тут она словно и не чувствовала его. Виноград перекатывался по её губам, она слегка надавливала его – и разливался нектар... Поцелуи были нежны и осторожны, губы мягки, и вся она стала безвольной, как тряпичная кукла. Хотелось уткнуться лбом в его грудь и ничего не видеть вокруг... Чувствовала, что его ладонь, точно забытый раскалённый утюг, вот-вот прожжёт тоненькое драповое пальтишко. Возвращаться из его объятий в промозглый ночной город совсем не хотелось: это как выйти ночью на даче из натопленной комнаты в сад, набухший дождём.

Всю следующую неделю она думала о Владимире. Он не звонил. Рысью кидалась к телефону, заслышав в коридоре звонок... Но нет... Это был опять не он.

Так прошёл почти месяц. Два раза звонил Петя, но она ссылалась на занятость: зачёты, болезнь мамы и собственное недомогание. Видеться с ним почему-то совсем не хотелось. А Владимир постоянно стоял у неё перед глазами. Это было странно, необъяснимо: он не был «её тип», а вот поди ж ты... Думала о нём постоянно. Как она ни избегала Натальи Ивановны, теряясь в кучке студентов и заводя с кем-нибудь из них увлекательную беседу (ей очень не хотелось говорить с ней о её сыновьях), та два раза умудрилась выдернуть её из толпы, цепко схватив за руку, и сказать ей о том, что Петя о ней постоянно спрашивает. Вика застенчиво улыбалась и виновато молчала. А вечером ей опять мерещился телефонный звонок, который она не слышит из-за шума телевизора или водопроводной воды в раковине.

Пару раз она не выдерживала и сама набирала его телефонный номер, но, услышав голос Натальи Ивановны, бросала испуганно трубку, словно схватила в руки бородавчатую склизкую лягушку, приняв её за прошлогодний лист. Снова и снова её память услужливо поставляла ей тот запах и вкус забродившего винограда, который перекачивали её влажные приоткрывшиеся губы.

Она увидела его опять случайно в автобусе. Вика стояла недалеко от передней двери – и через головы заметила его сидящим где-то в середине автобуса. Их глаза встретились и, как разноимённые полюса, потянулись друг к другу. Губы изогнулись в счастливой улыбке завалившимся набок полумесяцем. Еле протиснулась к нему, зажатая со всех сторон пассажирами, поправившимися на объём пуховиков и синтепоновых курток. Владимир поднялся с сиденья и посадил её, поставив ей на колени большую спортивную сумку. Склонился над ней так близко, что она уловила какой-то очень приятный аромат духов, смешанный с резким запахом мужского пота. Болтали какую-то чепуху. Вика ощущала себя так, как будто хлебнула шампанского. Весёлые пузырьки побежали по сосудам, надувая и поднимая крылья за спиной. Она чувствовала, что лицо снова горит, как обожжённое жарким южным солнцем. Владимир заправил её выбившуюся непослушную прядь под беретик. Тяжёлая мужская ладонь скользнула по щеке, точно шёлковое птичье пёрышко, – будто слезу смахнула, – Вика несла какую-то ерунду. Увидела, что из сумки в раскрывшейся пасти молнии выглядывает красное, почти вишнёвое яблоко. Хотела вытащить его и сказать: «Я попробую». Но не решилась. Так и ехала дальше, переводя взгляд с яблока на Владимира и обратно. Выпорхнула из автобуса на своей остановке, чувствуя, что крылья всё продолжают надуваться: ещё чуть-чуть – и их подхватит своими потоками ветер, отрывая её от земли. Это было необъяснимо, странно и совсем ей непонятно. Такое же чувство растерянности, смешанное с восторгом, было у неё, когда она увидела однажды над городским фонтаном настоящую радугу в совершенно ясный холодный день. Радуга перекидывалась от тополей, стоящих позади фонтана с одной стороны улицы на другую, окрашивая листья, вывернувшиеся серебристой изнанкой наружу, в золотистые тона. Золотое чудо среди зелени и потускневшего серебра. Радуга была настоящая, не мираж и не игра её воображения: разноцветный эфемерный мостик среди водяной пыли.

На другой день она сама ему позвонила. Услышала Петин голос – и осторожно положила трубку, точно держала в руках хрупкое стекло. Потом сидела два часа над конспектами лекций, с трудом продираясь сквозь чертополох букв и кривых строчек, силясь вникнуть в написанное. Но тщетно – мысли улетали, точно тополиный пух, бесформенный, аморфный и невесомый. Крадучись, чтобы не услышали родители, подошла к телефону – и снова услышала Петин голос. Мягко нажала на рычаг и только потом аккуратно поместила на место трубку. Она звонила ему ещё раз пять и неизменно клала трубку: подходил либо Петя, либо Наталья Ивановна. Наконец трубку взял Владимир. Голос её звенел натянутой струной, которую нервно перебирали дрожащие пальцы. Получалось что-то похожее на непрофессиональное тьяканье гитары. Выдыхала по очереди вопросы: «Как ваша жизнь? Что нового? Чем занимаетесь? Где были и что видели? Как чувствуете?» Получила ответы: «Ничего нового. Отдыхаю. Служу. Ничего, спасибо». Темы для разговора просто не находилось. Голос будто разучивал скучные гаммы, но они не давались. На том конце трубки раздражённо сказали:

– Ну ладно, мне сейчас по делам надо позвонить. – И разговор закончился.

Чувствовала себя как в самолёте, попавшем в воздушную яму: муторно, говорить не

хочется, закрываешь глаза – и пытаешься представить что-нибудь хорошее...

Вспомнилось, как она впервые увидела море. Море уходило за кромку горизонта и сливалось с небом где-то там, на краю света. Край света был окутан в розовую дымку заката. Солнце было багровым, тревожным и напомнило ей юпитер, светивший с балкона в Оперном театре. Купаться тогда пошли не на пляж, а на дикие скалки. Она стояла на мокром коричневом скользком камне, поросшем зелёной плесенью, и смотрела, как робкая волна разбивается о камень в мелкую водяную пыль. Попробовала воду рукой. Та была тёплой и прозрачной. Она никогда в средней полосе не видела такой прозрачной воды. Она была какая-то бирюзовая, точно в неё пролили зелёнку. Жара отхлынула, но купаться очень хотелось. Она боялась прыгать со скалы – и стала спускаться по осклизлому камню. Поскользнулась – и буквально съехала вниз, обдирая бедро. Было мелко – и плыть ещё невозможно. Она пошла по крупной гальке навстречу западающему солнцу, чувствуя, как камушки больно массируют ноги. Когда вода дошла до пояса, оторвалась от земли – и поплыла. Вода буквально выталкивала её на поверхность. В реке она никогда не чувствовала себя так. Будто отцовские руки подняли её под потолок и качают – так она чувствовала себя на волнах. Было легко, непонятная радость росла в ней и распускалась диковинным цветком. Она плыла по блестящей дорожке, качающей на воде розовые блики заходящего солнца, точно лепестки роз.

6

Она не звонила братьям целый месяц. И они тоже не вспоминали её (или вспоминали, но не давали о себе знать...). Перед Новым годом не выдержала. Опять с замирающим сердцем набрала номер, с удивлением для себя сознавая, что уже знает его наизусть. И тут же услышала голос Владимира. Он обрадовался и начал что-то плести, ворочая языком так, будто у него полный рот еды. Ей даже пришлось переспросить его несколько раз то, что он сказал...

– Ты ешь?

– Нет... С тобой разговариваю...

Вдруг она услышала пластмассовый щелчок – и раздались гудки. Подумала, что разъединили, и набрала номер снова. К телефону больше не подошли.

Расстроенная, она ушла к себе в комнату и легла. Испугался кого-то? Или пьяный, а она не поняла сначала? «Шут с ним. Не буду больше звонить», – подумала Вика. Неприятная догадка не давала ей читать. Снова глаза перескакивали со строчки на строчку, буквы двоились и разбегались, она сознавала, что не поняла ни предложения, так как мысли, будто металлические опилки, насыпанные на чистый лист бумаги, выстраивались друг за дружкой в кривые, притянутые магнитом её странного звонка.

Это было странно, необъяснимо, но Владимир будоражил её воображение, ей хотелось увидеться с ним вопреки всякому здравому смыслу.

Через два дня после лекции её поймала Наталья Ивановна и пригласила к ним на Новый год. Сердце Вики радостно подпрыгнуло маленьким теннисным мячиком. И долго ещё скакало, будто покотившийся мячик по ступенькам лестницы.

Новый год она встретила с родителями за конспектами лекций. В гости не пошла, так как не решилась сказать родителям, что будет не дома. Разбирала свой корявый почерк,

закрывшись в своей комнате от орущего телевизора, и думала о том, что нынче у неё последний Новый год с сессией. Голоса из телевизора всё равно доносились сквозь стенку, пьяные буквы падали с линейчек тетради, слова наряжались в маскарадные костюмы, и она ничегошеньки не понимала и не усваивала из прочитанного.

Собралась с силами – и набрала заветный номер. На сей раз подошла Наталья Ивановна, она извинилась, что не пришла, и попросила её всех поздравить. У неё вырвал трубку Петя и пожелал ей счастья в новом году.

Его пожелание начало сбываться на другой день. Позвонил Владимир, поздравил и предложил прогуляться по праздничному городу.

Падал огромными розовыми и сиреневыми хлопьями снег, ёлка на площади тоже была вся в сиреневой подсветке и светилась серебристой мишурой. Откуда-то из далёкого детства всплыло то предчувствие чуда, какого она всегда ждала от новогодних сказочных представлений, с замирающим сердцем вглядываясь в розовые, лиловые и голубые сосульки на сцене, которые никогда не таяли до конца спектакля и не сливались друг с другом, превратившись в огромную лужу на асфальте. Вглядывалась, ожидая Деда Мороза с мешком подарков за плечами, который пообещает исполнить самое заветное желание и зажжёт на ёлочке мигающие разноцветные огоньки. Говорили опять ни о чём. Смеялись, радуясь, что попали в сказку. Проходя мимо парка, заглянули на праздничные гуляния. Увидели огромные горки, тоже сиреневые, розовые и голубые, блестящие накатанной поверхностью, – переглянулись и решили покататься. Владимир сказал, что он будет кататься на ногах, но Вика была уверена в том, что она сразу же ляпнется, – и пошла искать какую-нибудь фанерку, оставленную уже накатавшимися. Нашла. Уселась на фанерку вдвоём. Она сидела, прижимаясь к нему спиной, – и чувствовала, как её лопатки превращаются в крылья. Крылья были зажаты чужим чёрным пуховиком и не могли раскрыться. Поэтому летели они вниз. Мчались так, что захватывало дух, сердце становилось таким лёгким, что летело впереди неё, точно воланчик для бадминтона. Руки Владимира крепко прижимали её к себе – и она чувствовала себя маленькой девочкой, доверчиво прильнувшей к папиной груди, надёжной и такой родной. Белые заснеженные деревья, облитые розовым светом, казались зацветшей сакурой и порождали удивительное чувство весны, заставшей врасплох.

Несколько раз, заливаясь смехом и держась, как дети, за руки, взбирались они по приставной деревянной лестнице на горку и съезжали вниз, захлёбываясь какой-то непонятной радостью, захлёстывающей их, точно волна от проходящего крылатого судна на воздушной подушке. Душа сама была тоже на такой подушке и неслась вперёд навстречу неизведанному.

Потом отогревались красным вином в кафе, находящемся тут же, в парке. Щеки медленно вбирали в себя цвет вина, точно лепестки белой лилии, поставленной в воду, подкрашенную красными чернилами. Владимир взял в руки её тоненькую ладошку, вывернул тыльной стороной, внимательно посмотрел на неё и сказал, что у неё очень глубокая, ярко выраженная линия ума; линия сердца тоненькая и прерывистая, моментами исчезающая совсем, а линия жизни не очень долгая и в конце её ждут тяжёлые болезни. Но тогда Вику не очень-то и встревожил такой прогноз. Конец был где-то так далеко, что даже горизонта не было: одна сплошная ночь, освещённая новогодними гирляндами цветных фонариков, в такт с которыми мерцают звёзды, подражая учащённому от радости и возбуждения сердцебиению. Потом перевернул дрожавшую, будто осиновый листок на ветру, ладонь, тыльной стороной вниз – и осторожно поцеловал. Руке было щекотно, точно её погладили

гусиным пером. Потом дома она несколько раз сама проводила губами по своей ладонке, пытаясь понять, что же чувствовал Владимир. Находила свою кожу шелковистой, будто нежный венчик каллы, вдыхала расширившимися ноздрями слабый запах мыла «Сирень». Смотрела на себя и Владимира отстранённо, точно душа в первый день отлёта, с удивлением и непониманием, почему тело так неподвижно и холодно...

Влюбилась в него Вика позже, тогда, когда он погладил её по волосам. Они сидели на лавочке в парке, истоптав ноги по его аллеям, напротив них расположились две молодые мамы с колясками и старушка с двумя внуками детсадовского возраста, голова которой была обсыпана грязно-белыми кудельками химической завивки, напоминающими тополиный пух. И вдруг Владимир наклонился к ней и убрал чёлку с её глаз. А потом просто погладил по голове, как ребёнка. Её голова долго потом хранила это лёгкое дуновение его руки: как морской бриз встрепал волосы – и потом пригладил...

Спустя двадцать лет она купит китайский массажёр для головы: изящная штучка из тонких металлических спиц, раскрывающаяся цветком наподобие приспособления для сбора яблок, – и, когда раскроет это сооружение на своей голове, вспомнит, то первое прикосновение мужа.

Целую неделю Вика ждала, когда же Владимир наконец позвонит. Не выдержала. Набрала номер сама. Два раза никто не отвечал. На третий она хотела было уже положить трубку, но подошёл Владимир. Говорил очень тихо и медленно, так, что она ничего не могла толком расслышать. Поняла только, что живёт он «волшебно». Стала переспрашивать, но разговор внезапно оборвался, как в прошлый раз. То, что это не обрыв связи, она была почему-то уверена. Ушла к себе в спальню, теряясь в догадках, что это было: «Пьяный? С женщиной? Не хочет, чтобы слышала мама?» Несколько раз потом звонила ещё, но Владимир к телефону не подходил. Махнула на него рукой и лишь изредка вспоминала то прикосновение его губ, похожее на дуновение, к её ладонке.

Через два месяца Владимир возник в её жизни снова: позвал её на концерт какой-то знаменитой рок-группы. Она совершенно ничего не понимала в роке, но пошла, гордая тем, что идёт на концерт с молодым человеком. Почти весь концерт она просто проспала. Слов было не разобрать. Сначала она напрягалась и пыталась понять смысл песен, но затем как-то совершенно незаметно провалилась в сон. Ей не мешали ни громкая музыка, бьющая в барабанные перепонки коваными сапогами, ни неудобные кресла современного концертного зала, сделанные в стиле минимализма: деревянные, жёсткие, с узкими подлокотниками, с которых соскальзывали локти. Сон был цветной, весь изрезанный вспышками цветных софитов, и странный. Будто плыла она на каком-то теплоходе по реке мимо города в красочных огнях рекламы. Стояла у стеночки на дискотеке на палубе, наблюдая за пляской радужных огней, скользящих по лицу, точно крылья ночных бабочек. Глядела, как дёргаются человеческие тени на стене напротив неё; лица танцующих в толпе тоже были почему-то стёрты, но все фигуры хорошо различимы, только дрожали яркими пятнами, точно смотрела на них сквозь слёзы. Никто не приглашал её. Поэтому она стояла и смотрела на тени, чтобы не встретиться с кем-нибудь глазами, с тем, кто прочитает её печаль. И вдруг кто-то в чёрной маске подошёл к ней, поклонился и потянул за руку, да так сильно, что она почувствовала,

как наклонился теплоход. Её держали за руку очень осторожно, но в то же время она ощущала, что её тянут куда-то к наклонившемуся борту – и она уже буквально скользит по наклонной плоскости, будто по накатанному льду. И вдруг чувствует, что по её ногам уже бежит холодная вода; вода становится всё выше и выше, вот она уже доходит до щиколотки, вот подхватывает холодными руками её колени – и она понимает, что пароход медленно погружается в неизвестность, всё так же освещённый огнями софитов, только тени на стене сбились теперь в одного орущего многорукого зверя, медленно съезжающего к накренившемуся борту. Она встряхнула головой и очнулась. Владимир осторожно держал её за руку, большим пальцем поглаживая тыльную сторону её ладошки.

После спектакля он пошёл провожать её домой. Говорили ни о чём. Смеялись лениво, смех спотыкался и разбивался о стену молчания другого. Она с удивлением для себя поняла, что не знает, о чём же ей с ним говорить. Молчать было неловко. Подумала, что молчать с кем-то другим, скажем, с тем же Петей, – это было вполне нормально. Хотела рассказать о преподавателях, но побоялась, что всё это будет озвучено дома. Стала рассказывать байки об учителях школы. Но путь до дома всё равно оказался очень коротким. Остановились перед её подъездом. Владимир осторожно взял её лицо в свои ладони. Глаза его были чёрные, почти совсем без радужки: туннели, в которых можно потеряться. Отвёл непослушную прядку на щеке за ухо и осторожно поцеловал в губы: нежно, как ребёнка, будто лёгким пером, потерянным из птичьего крыла, провёл по губам. И она поняла, что пропала...

8

У них начался период разговоров по телефону. Владимир теперь почти всегда брал трубку. И даже как-то незаметно нашлись темы для беседы. Теперь она чаще всего просто рассказывала, что у неё случилось в университете или дома. Правда, информацию приходилось передавать дозированно, всё время помня о том, что её могут передать Наталье Ивановне. У Владимира был какой-то неисправный телефон. Она то слышала его хорошо, то его голос начинал звучать, как по межгороду и даже хуже, – и тогда она с напряжением вслушивалась в его голос, пыталась понять, что он говорит. Просила поправить телефонный шнур. После этого его речь становилась настолько отчётливой, будто он в комнате у неё разговаривал. Так было почти каждый раз. Она даже попыталась намекнуть, что надо бы сменить им аппарат, но Владимир отмахнулся и сказал, что всем в доме распоряжается матушка. В один из разговоров она отчётливо услышала пластмассовый щелчок – и поняла, что трубку просто положили на стол, а не держат около рта и уха. Голос Владимира зазвучал как из погреба. Не выдержала, бросила:

– Ты что, трубку кладёшь рядом, а сам что-то делаешь в это время, пока со мной разговариваешь?

– Нет, что ты! Это опять провод.

Она не звонила ему потом целый месяц, ждала, когда объявится сам. Но не выдержала – и позвонила первая. И снова они гуляли по вечернему городу, утопающему в цветных огнях и пахнущему мокрой пылью. В воздухе висела изморось – и от этого огни расплывались, будто пятна на промокашке, становились большими и неровными. Дрожали огни, дрожали капли на ветках обрезанных тополей, дрожал её звонкий голос, и вся она тоже дрожала от влажного пронизывающего ветра, ощущая своё сиротство рядом с ним в этом шумном и праздном

городе, взрывающемся от смеха и музыки, вырывающихся из дверей кафе и ресторанов вместе с облачком сигаретного дыма. И снова они сидели в кафе, снова она тянула через трубочку горячий глинтвейн, замешенный на дурманных травах; и снова её ладонь, будто неоперившуюся птицу, подхватывал ветер и поднимал к его шёлковым губам, пахнувшим бродившим виноградом. Музыка опять была по её барабанным перепонкам, но она оглохла – и перестала слышать этот лязг и скрежет металла. В душе её проснулись и заливались соловьи.

И вновь её провожали до дома. Только теперь его рука нежно и по-хозяйски обнимала её за талию, будто вела в каком-то новом, ещё не разученном ею танце, и она очень страшилась попасть не в такт и сделать неловкое движение. И ещё очень боялась, что её могут увидеть знакомые.

Хотелось спрятать проснувшуюся любовь к этому ворвавшемуся шквальным ветром человеку подальше от людской зависти и слепой злости, зажать в кулачке, как кусочек случайно найденного среди серых обкатанных волнами гольшей янтаря, впитавшего солнечный свет. Спрятать, чтобы не задевать чувства других, несчастных и от того больных, которым чужое счастье выжигает нутро, словно уксусная кислота. Хотелось прикладываться к ней, как к морской раковине, хранящей вековой ропот волнующегося и никогда не утихающего моря, пытаясь прочесть его ноты и понять его чужой, тревожащий душу своей неразгаданностью, язык.

И вновь её целовали в тёмном дворе, где любопытный глаз фонаря был разбит кем-то из подростков, и фонарь застыл столбом над их головами. Губы были горячими, точно только что пили обжигающий нёбо вязкий шоколад, и уже не напоминали ей мягкий и сочный виноград. Жадно затягивали в водоворот, будто полевой цветок, небрежно сорванный и брошенный кем-то в тихо бегущую в своих берегах реку.

Они встречались почти полгода, наворачивая круги по шумным улицам города или парку, она успела привыкнуть к нему настолько, что не представляла уже свою жизнь без него, когда она узнала, что он был дважды женат и что у него есть ребёнок. Про свою первую жену Владимир сообщил, что она была очень молодая, ей было девятнадцать лет, интересовали её только джинсы и танцы, и что развела их его мама, которая сказала, что у его супруги никогда не будет детей: её знакомый гинеколог оповестил, что девочка делала аборт. Владимир ещё добавил, что иногда он жалеет о разводе, так как тогда бы он имел то, чего не имеет теперь.

Вторая его жена была полной противоположностью первой. На Викин вопрос, почему они развелись, он честно ответил, что виноват он: сначала всё было хорошо, потом начались сложности.

- Какие? – спросила расстроенная Вика.
- Всякие. С родителями. С ребёнком. Как время проводить.
- Почему же ты раньше мне не сказал про свои браки?
- Боялся, что не поймёшь.
- А ребёнок? Ты часто с ним встречаешься?
- Нет. Я вообще не встречаюсь. Я только деньги даю. И вообще он отстаёт в развитии.

– Ненормальный, что ли?

– Да нет. Отстаёт в развитии. Сейчас жена поехала с ним в Киев. Там какая-то методика есть, прибор, где лечат с помощью электротока. Она очень надеется, что поможет.

– Ты поэтому ушёл? Из-за ребёнка?

– Нет. Не из-за него. Скандалы надоели. Придёшь выпивши – скандал; трезвый, но поздно – скандал. А мне ведь и в театр хочется, и в кино, и с друзьями посидеть. На выходные на дачу уедешь – скандал. Я ей говорю: «Поехали вместе, вы там погуляете, а я поработаю», а она не хочет, говорит, что дома дела. А я ведь ей помогал. Я и пелёнки стирал, и убирался, и готовить я умею.

– Она виновата, что вы расстались?

– Нет, я. Да что теперь это обсуждать, надо просто на будущее сделать выводы.

Вика тогда долго не могла прийти в себя. Но в одном Владимир был прав: она уже привыкла к нему и не представляла себя без него. Расстаться сейчас – значит оторвать кусочек живой тёплой нежной кожи, примерзшей к металлу на морозе. И отрывать надо, и без травмы не обойтись... Она решила тогда закрыть на всё глаза. Поздно уже было расставаться: она уже любила его и вся её дальнейшая жизнь в мыслях протекала рядом с ним. Без него её уже не было. Вернуться в то недалёкое время, когда жизнь имела цвет серой газетной бумаги с речами с партийного съезда, которые надо законспектировать к очередному семинару?

Был последний месяц весны, уже деревья выстрелили, будто шариковые авторучки, своими зелёнькими листьями, и она знала, что до цветения – рукой подать, но стало вновь холодно: так бывает, когда цветёт черёмуха. У неё и голова уже кружилась, как от сладкого и дурманного запаха черёмухи. Они наворачивали круг за кругом по парку – и она чувствовала, что тошнотворный запах всё усиливается: подняла голову и увидела над головой огромное дерево, ещё почти без листьев, будто намыленное, покачивающее кроной в маленьких, ещё не лопнувших пузырьках пены.

Владимир взял её голову в свои ладони, будто волейбольный мяч, что ловко поймал, а теперь раздумывает, как метнуть его половчее. Резкий запах вина плеснул ей в лицо. Она безошибочно угадывала этот запах. Она его не переносила. Если отец приносил этот запах домой, то мама всегда начинала скандал. Потом, когда Вика подросла, она всегда его сама просила (даже когда мама уезжала) не приносить домой этот запах. Вика тогда почему-то ничего не сказала Владимиру, но он сам обмолвился, что они с отцом отмечали День Победы. Будущий свёкор на фронте не был, но Викин отец был из выпускников 1941 года, ушедших прямо со школьной скамьи на фронт, 9 Мая всегда надевавший ордена и медали и отправлявшийся на парад искать встреч с однополчанами. Ни разу он не приходил с этих встреч с винным запахом – и они с мамой понимали, что он опять, как и в прошлые годы, никого не встретил. Но накануне на кафедре праздник отмечали всегда.

Вика ничего не сказала Владимиру тогда.

Было ещё одно маленькое потрясение в жизни Вики. Они гуляли в тот вечер по откосу – и она была счастлива. Шли, взявшись за руки. Она чувствовала себя маленькой девочкой, которую взрослый крепко держит за руку, чтобы она не потерялась. Её маленькая ладонь была точно спрятавшийся зверёк в норке большой ладони Владимира. Ей совсем не хотелось выпускать свою ладошку из его руки. Она чувствовала его шершавую и горячую кожу, слышала удары чужого сердца, которые почему-то доносились через ладонь, будто стук колёс поезда, спешащего через туннель, слышался на земле, под которой этот туннель проходил. И

так ей было хорошо и спокойно! Она верила в то, что с этим человеком она будет счастлива всегда и он сможет её защитить от всех ветров жизни. Потом они целовались в подъезде соседнего дома – и она ощущала солоноватый привкус крови на своих губах и его шелковистые губы, втягивающие её в себя, будто высасывающие кокосовый орех.

Она легко вспорхнула на свой третий этаж, улыбка блуждала на её отрешённом лице, пока она раздевалась и принимала душ, представляя, что упругие горячие струи – это руки её любимого. Вышла разгорячённая из душа – и решила сделать Володе приятное: позвонить и проведать, как он добрался домой. Сотовых тогда не было: общались только по домашнему телефону. Она знала, что родители его уехали на выходные в деревню, где у его отца жила мать. Каково же было её удивление, когда к телефону никто не подошёл! Сначала она решила, что Владимир в ванной, но он не подошёл и через час. Она звонила ему три раза ночью, боясь, что жалобное позвякивание набираемого номера услышат на параллельном телефоне родители, но удержаться от звонка не могла. В равнодушной холодной трубке раздавались длинные гудки. Она так и не заснула в эту ночь. Ворочалась. Сбила всю простынку в ком так, что оголился полосатый матрас. Глаза жгло, будто их надул ветер и насыпал в них всю подметённую им пыль заплёванных тротуаров. Лежала и смотрела, как чёрные рёбрышки ветвей на шершавой стене дрожат, словно дышат. Прижималась к ним, чтобы остудить свой горячий лоб. Сна не было ни в одном глазу. Наблюдала, как в комнате медленно начинают проступать сквозь тьму очертания предметов, потом появляется цвет – сначала грязный и тёмный, словно полинявший после стирки с тёмно-синим бельём, затем становящийся всё светлее и насыщенней. В окно хлынул мутный рассвет.

Они должны были встретиться на другой день в обеденный перерыв. Он обещал забрать у неё книгу, что она просила отсканировать. В те времена копировальные аппараты были редкостью, а у Владимира на работе их было целых три штуки.

Когда встретились, то пожаловалась, что не спала всю ночь, надеясь на объяснение. Но Владимир, взявшись за подол её платья и задержав его в своих пальцах, лишь выдохнул:

– Я тоже почти всю ночь не спал, – и осторожно погладил по колену.

Это было первое в её жизни проявление мужской неверности. Но она ничего почему-то ему не сказала тогда. Вымолвила только, что звонила ему раз десять, но Владимир ничего на это даже не ответил...

Она долго потом думала, с кем же он был? То ли с одной из жён, то ли с портнихой, шившей ему шапку, то ли с девушкой по вызову, которые в те времена только-только начали легализоваться. Да это было и не важно: с кем. Важно было то, что она больше не чувствовала к нему безграничного доверия и думала о том, что в их будущей совместной жизни ей придётся столкнуться с этим ещё не раз...

Отшумел выпускной. Она положила красные «корочки» диплома в верхний ящик письменного стола. В августе её ждала первая в её жизни работа. Впрочем, работать она была оставлена в лаборатории, где писала курсовые и диплом, и всё ей там было давно знакомо. Половина её сокурсниц уже были замужем. И она давно ждала от Владимира предложения. Родители относились к нему настороженно. Отцу не нравилось то, что он военный. Мама переживала, что ребёнок уходит из-под её крыла. Но, вроде как смирились со

своим будущим зятем. Когда Владимир предложил расписаться, все восприняли это как должное. Она привыкла к нему настолько, что ей казалось, что всё катилось в её жизни правильно. И, в конце концов, если семейная жизнь не заладится, то можно будет всё переписать...

Свадьбу, можно сказать, не играли. У Владимира это был третий брак – и свадьба ему была не нужна. Вика тоже совсем не хотела выступать в роли «рыжего на арене». Вика не стала рассказывать дома про третий брак своего суженого: она знала, что произнесут на это родители, не рассказала она им и про его ребёнка. Расписались – и пообедали в узком семейном кругу у Натальи Ивановны дома.

У Владимира была бабушкина однокомнатная квартира, которую Наталья Ивановна сдавала то ли из-за денег, то ли не желая, чтобы дети жили там холостяцкой жизнью. В ней и решили поселиться молодожёны. Квартира была в рабочем районе города, из которого до центра надо было добираться с пересадкой как минимум часа полтора. Вике очень не хотелось ехать в этот район – и она даже думала о том, не предложить ли Владимиру жить у них, но её внутренний голос говорил, что это будет тяжело для всех и жизнь не сложится. Она была домашней девочкой, но ей хотелось почувствовать свободу от родительской зависимости и пожить настоящей взрослой жизнью.

11

Привыкала Вика к чужому дому тяжело. Всё время хотелось домой к маме с папой. Она почти каждый день заезжала к ним после работы. Рассказывала все новости, пока мама разогревала для неё еду, ужинала и уезжала в своё новое жильё, к которому она никак не могла притерпеться.

Квартира была малометражной, построенной условно осуждёнными, тесной и захлавленной. В комнате пять дверей: одна выходила прямо в крошечную четырёхметровую кухню, две другие – в коридор (говорят, что вторая дверь в коридор была сделана в поздних проектах жилья специально для покойников, а первоначальный проект имел только одну дверь, но чтобы вынести гроб, его приходилось ставить почти на попа), четвертая вела в кладовку, а пятая – на балкон. Балкон выходил во двор, так густо засаженный деревьями, что Вике казалось, что она живёт на даче.

У них с мужем теперь был один общий шкаф для одежды и один письменный стол на двоих.

Владимиру пришлось освободить три ящика стола для неё. Она хотела привезти стол из дома, но ставить его было некуда. Она так и сказала ему: «Придётся тебе освободить для меня половину стола». Освобождал стол он с раздражением, неохотно, перекладывал свои инструменты: старый фотоаппарат, бинокль, альбомы с фотографиями – в посылочные ящики из фанеры. Ничего не убиралось. Он снова всё вытаскивал прямо на пол и опять запихивал. Поставил ящики под столом к батарее: один на другой.

Его бесило то, что Вика не только работала за его столом, но и постоянно превращала его в туалетный столик, сидела за ним и наводила марфет. На нём вечно валялись её крем, помада и тени. Она частенько ставила на него пузырёк с жидкостью для рук, что в те годы продавали в аптеке, – и глицерин, смешанный с нашатырём, стекал по гладким бокам пузырька, оставляя на столе мокрое маслянистое пятно, резкий запах которого возвращал его

с небес к действительности. Он стал стелить на стол газету, чтобы предохранить свои бумаги от жирных пятен. Вику это злило – и она сдёргивала газету со стола, комкала её, пачкая намазанные кремом руки типографской краской, шла в ванную, мыла там ладони, приходила – и снова ставила на письменный стол флакон с глицерином, оставляя блестящий жирный кружок на поверхности органического стекла, покрывавшего поверхность стола. Супруг не выдерживал и взрывался. Иногда она сама после его гаек, шурупов, диодов и рыболовных крючков стелила на стол газету – и тогда он смеялся после, ловя её за серые загрубевшие локотки, которые она потом вынуждена была разглядывать в зеркале и оттирать той же маслянистой жидкостью для рук.

Её тоже раздражало многое. Носовые платки, валяющиеся скомканными тряпками на постели, тумбочке и письменном столе; дурно пахнущие носки, раскиданные на полу у кровати и распространяющие специфический запах по всей комнате; разбросанные и постоянно играющие с ним в прятки нужные вещи. Но она никогда ему ничего не говорила и пыталась научиться не обращать на это внимания. С удивлением для себя Вика обнаружила, что привыкла иметь свой угол, в котором можно было скрыться от посторонних глаз даже родного и любимого человека. Впрочем, Владимир оставался по-прежнему чужим. Родными были папа и мама, бабушка и дедушка.

Семейная жизнь текла странно. Оба приходили домой поздно и уставшие: она заезжала к родителям, он – к друзьям и иногда тоже домой. Владимир оказался жаворонком и ложился спать в детское время: иногда в половине девятого, в девять. Для неё это было чрезвычайно рано, она не успевала порой даже начать заниматься домашними делами. Включить телевизор тоже уже не получалось: он мешал спать мужу, хоть она и не очень страдала от отсутствия ящика.

В первую же неделю своей замужней жизни к ней обратились с немного странной для неё просьбой. Владимир зашёл на кухню, где она домывала посуду, и сказал, что поставит сейчас магнитофон с аутотренингом и очень её просит тот выключить, когда он заснёт. Без него ему засыпать тяжело. И вообще он хотел бы, чтобы она тоже приобщилась к этому аутотренингу. Она очень удивилась, ответила, что ей аутотренинг не нужен, у неё нет времени и желания слушать эту лабуду, но, ладно, так и быть, выключит. Когда пришла в спальню, увидела супруга, мирно посапывающего на спине, голова откинута набок... Занудный мужской голос бубнил изкассетника: «Я отдыхаю. Расслабляюсь. Чувствую себя свободно и легко. Я спокоен. Я спокоен. Я спокоен. Всё тело расслаблено. Мне легко и приятно. Я отдыхаю. Мне тепло и уютно. Я погружаюсь в сон. Сон мягко обволакивает меня».

Постояла минуты две, слушая эти самовнушения. В растерянности выключила магнитофон, взяла книжку, забралась в кресло, включила торшер и попыталась читать. Глаза бежали по строчкам, будто человек по ступенькам эскалатора вниз, когда эскалатор движется вверх. Она оставалась на месте и с удивлением для себя поняла, что не запомнила из прочтённых полутора десятков страниц ни строчки. «Я отдыхаю. Расслабляюсь. Чувствую себя свободно и легко. Я спокойна. Всё тело расслаблено. Мне легко и приятно. Я отдыхаю. Мне тепло и уютно». Спокойно не было. Было тревожно и тихо, как перед грозой. Тепло не было. Было просто очень душно. Но гроза была ещё очень далеко, где-то на краю горизонта. Кромка горизонта выныривала из темноты в ещё беззвучных всполохах света – и пропадала. Вика встала и открыла форточку.

На следующий день муж снова смотрел на неё собачьими глазами и просил выключить

Вика никогда не была меркантильной девочкой. Напротив, она стеснялась говорить о деньгах и старалась всегда заплатить в кафе или кино, когда её приглашали мальчики, сама. Каково же было её удивление, когда ей впервые принесли зарплату: положили на пододеяльник, сказав, что это «на булавки»! Она даже растерялась. Сказала серьёзно:

– Ой, спасибо! А на жизнь?

– Ну, я же обедаю в основном не дома. И за квартиру плачу.

Расстроилась невероятно, пожаловалась родителям. Отец сказал, что он, конечно, их прокормит, но почему он должен содержать какого-то уroda:

– Не хватает, чтобы удовлетворить все свои прихоти, пусть идёт подработает хоть извозом, хоть охранником или грузчиком. Ему не объясняли дома, что обязанность мужа – содержать семью?

Она, запинаясь и чувствуя, что щёки её полыхают, как от чая с малиной, передала Владимиру папины слова – и получила ответ:

– Профессорской зарплаты не хватает ребёнку помочь?

В следующую зарплату ей выдали сумму в два раза большую, промолвив, что его матушка «передаёт ей деньги». «Деньга» составляла одну десятую от Володиной зарплаты. Она ничего не сказала ему, подумала: «Он ещё на ребёнка даёт... Но как они будут жить дальше?»

В выходные Вика чаще всего оставалась одна. После завтрака Владимир неизменно сбегал: к друзьям, родителям, в гараж. Вика прибирала квартиру, стирала, готовила, с горечью сознавая, что заставить Владимира помочь не в её силах: его воспитали ТАК. Иногда в блаженстве растягивалась на кровати с книжкой, радуясь тому, что никто не мешает чтению. Она попросила его как-то отнести в прачечную бельё: накопился огромный тюк. Тот согласился, но вернулся злой, сказал, что она его эксплуатирует, – и тут же исчез из дому. Возвращался часто навеселе, разговорчивый, лез с душными объятиями, и она морщилась от уже привычного запаха перебродившего винограда, смешанного с запахом мужских ног, топтавших его в давяльне.

Хуже было, если его друзья приходили к ним. Она не любила шумных гостей и больших компаний, где все громко кричат и никто ничего не слышит. А все его друзья были шумные. Приходили всегда с бутылкой водки и очень редко с закуской. Нечасто – по одному, обычно заваливались по двое-трое, пятеро. Приготовленный ею на неделю обед за пару часов их сидения исчезал, холодильник был выпотрошен, как после налёта саранчи, в раковине неизменно оставалась горка грязных тарелок.

Она уже видела, услышав телефонный звонок его приятелей, которые напрашивались к ним в гости, как небо на востоке чернеет, как грозная туча закрывает небосвод, как ласковое майское солнце меркнет, закутываясь в траурную вуаль. Первые насекомые градом посыпались на облитые розовым цветом фруктовые деревья её взлелеянного и ухоженного сада, застучали по рифлёной крыше дома. Над землей закружилась, завьюжила серая пурга. Близких не разглядеть. За шумом крыльев больше не слышно её робкого протестующего голоса. С треском ломаются ветви яблонь под тяжестью осевшей на них саранчи. Вся округа

побурела, словно сопревший под грузом тающего снега лист. Но туче на востоке не видно ни конца ни края.

Глубоким вечером саранча улетала, оставив на месте цветущего и благоухающего края голую, выжженную огнём пустыню. Накатанное железнодорожное полотно её жизни сплошь было усыпано саранчой. Поезд сначала давил её, а потом колёса начинали буксовать – и паровоз, беспомощно пыхтя и отфыркиваясь гнусной жижей, не смог втащить состав на небольшую горку.

Всё чаще муж приходил домой пьяный, как говорится, в стельку. Вика и представить не могла, что такое бывает. Первый раз в её жизни Владимир пришёл таким с работы. Она открыла дверь на звонок, режущий тишину в квартире требовательным непрекращающимся трезвоном, – и отшатнулась в испуге. В квартиру ввалился покачивающийся – будто стоял в лодке, попавшей под волну от встречного теплохода, – муж. В лицо пахло уже знакомым запахом бродящего винограда, смешавшегося с острым кислым запахом рвоты.

Она отшатнулась. Хотела заругаться, но испугалась и поняла, что бесполезно. Комната была одна, прятаться и запирается было негде. Выскользнула на кухню, думая о том, что уйдёт ночевать к родителям. Услышала, как Владимир тут же, не раздеваясь, прошёл в туалет, где его долго рвало. Вика успела собрать сумку и какие-то тряпки. Бормоча «ё-моё», муж рухнул на не разобранный кровать. Вика тенью проскользнула в прихожую – и сбежала.

Мама встретила её настороженно, но Вика сказала, что муж уехал в срочную командировку – и она воспользовалась его отлучкой.

Сидела в своей девичьей спальне в кресле, смотрела, как гуляет лёгкая газовая занавеска, вдруг напомнившая ей фату и свадебное платье, – занавеска, в которую закутывался ветер, врывающийся в неприкрытую форточку, и думала о том, как же у неё дома хорошо. Её дом был здесь. Там, откуда она прибежала сегодня, было чужое жильё, где она немного погостила. А здесь было светло, как в саду в солнечный день, просторно и уютно. Всё радовало глаз: и поцарапанный письменный стол с лиловым пятном с правой стороны от когда-то пролившихся чернил, которое так въелось в дерево, что его было не вывести; и поцарапанный старый комод с отломанной ручкой у верхнего ящика; и книжный шкаф, в котором красовались учебники старших классов наперегонки с толстыми фолиантами университета, словарями и справочниками в настоящих дерматиновых и коленкорových переплётках; и оранжевый жизнерадостный торшер, пропитанный светом, как соком лучающаяся на солнце хурма. На кровати лежал её любимый плюшевый слоник, с которым она спала половину своей жизни. Она взяла любимую игрушку, прижалась к её мохнатой серой голове, вдыхая запах ткани, впитавший ароматы её детства: лимонного крема, молочка «Утро», косметического вазелина и хвойного шампуня, – как вдруг спазм перехватил горло – и слёзы закапали из глаз на макушку слоника, точно первые капли дождя.

Запах вина она терпеть не могла с детства. Отец у неё пил редко, «по праздникам», как напишут потом в амбулаторной карте, но почти каждый предпраздничный день приходил с работы с запахом спиртного, учуяв который мама обязательно устраивала скандал. И маленькая Вика его упрашивала перед праздником: «Ты, папочка, только домой пьяный не приходи. Я не люблю, когда ты так пахнешь». Как получилось, что она не обратила внимания

на запах вина, который несколько раз улавливала от Владимира при их непродолжительном знакомстве? Один раз она даже видела его пьяным по-настоящему. Надрался на дне рождения друга. Заправски разливал прозрачную жидкость. Тот день рождения был весёлым. Общались, шутили, смеялись. Владимир подливал и подливал, не обделяя себя. Но, если многие только чуть-чуть отпивали, а то и просто макали губы в пьянящую жидкость, делая вид, что пьют, то Владимир с лёгкостью опорожнял стопку за стопкой. Она это видела, расстроилась, но решила, что это случайно. «Ну, с кем не бывает?», как говорила её соседка, когда кто-нибудь из подъезда жаловался на её напившегося сына, опять заснувшего на лестнице и перегородившего проход.

На следующий вечер пришла домой, но опять раньше мужа. Дверь в ванную была открыта – весь унитаз заляпан остатками непереваренной пищи. Острый застоявшийся запах ударил в нос. Зажала нос, захлопнула дверь в ванную и решила, что ничего убирать не будет: пусть отмывает сам. Оставила записку: «Убери, пожалуйста, своё безобразие. Я вернусь только в чистую квартиру», – и ушла опять к родителям.

На другой день застала прибранную квартиру, в холодильнике ждала подрумянившаяся в духовке курица и запечённая картошка. На туалетном столике лежали две шоколадки.

Решила не ругаться, хотя была настроена на разговор. Но «явка с повинной» смягчала вину.

Всё же не выдержала, сказала всё, что думает о его выходке. Муж понуро молчал – и это придавало ей сил.

Через неделю всё повторилось. И снова она уходила к родителям. И опять она пилила мужа, чувствуя мягкую и рыхлую породу под стальными зубьями. Муж брэнчал связкой ключей и ничего не говорил в ответ.

Она пожаловалась Наталье Ивановне, та повздыхала, сказала, что такая уж женская доля – терпеть. Она вон троих мужчин терпела. И вообще она думает, что Вика мало уделяет ему женского внимания и не удовлетворяет его как женщина, иначе бы Вова не бегал по компаниям и не напивался. Вике было до слёз обидно. Хотелось зарыться в мамины колени и не видеть этой взрослой жизни... Её бы гладили по вздрагивающим лопаткам и говорили, что к свадьбе всё заживёт. К свадьбе действительно всё зажило, а вот после...

Самое удивительное было то, что она любила Владимира и ничего не могла с собой поделаться. Морок рук и губ перетягивал на себя одеяло рассудка. Его мягкие влажные губы на её полудетской ещё груди, от холода и страха покрытой пупырышками, будто у кактуса, которые бесследно растворяются по мере того, как губы скользят всё ниже и ниже... Кактус расцветал удивительно нежным розовым цветком, источающим странный, острый, но чарующий аромат.

Она ждала его с работы и думала, что вот сейчас окажется в его объятиях.

Обиды копились, как в лодке дождевая вода: и утопить не утопят, и плыть некомфортно. Всё чаще она с горечью думала, что в её жизни что-то пошло совсем не так, как мечталось. Она стала замечать, что становится раздражительной. Ходила по комнате, как зверь по клетке, если Владимир задерживался. В один из поздних вечеров, когда они уже обменялись с мамой по телефону новостями и она закипала, точно молоко, оставшееся без присмотра: готова была убежать, она взяла и включила магнитофон мужа с его записью аутотренинга. Бархатный баритон внушал: «Вы глубоко и с удовольствием вдыхаете лёгкий прозрачный горный воздух. Он наполняет лёгкие и вместе с кровью проникает в каждую клеточку вашего тела. Чувствуете, как лёгкость и чистота наполняют вас. Погружаетесь в приятную теплоту

майского солнца. Ощущаете запах молодой свежей травы. Трогаете её руками – сочную, ярко-зеленую...»

Когда Владимир пришёл, то жена не выбежала ему навстречу в прихожую, не бросилась в его распахнутые руки, губы не вспорхнули мотыльком по щеке к его губам. Раздевшись, прошёл в комнату. Жена безмятежно спала под привычное чужое бормотание: «Я спокоен. Мне хорошо и тепло. Я растворяюсь в блаженстве и неге». Тоненький синий ручеек на виске пульсировал под полупрозрачной кожей, напомнившей ему лепестки лилии на солнечном свете. Полудетские губы приоткрыты, обнажая ряд мелких зубов, похожих на промытые морской водой блестящие белые камушки. Волосы разметались по подушке, точно вздыбленные ветром. Одна нога выкинута из-под одеяла, ровно маленький тюлень на льду. Вздохнул, задыхаясь от нежности и поднимающегося желания, выключил магнитофон и ушёл в гостиную смотреть телевизор.

Теперь Вика каждый раз, как только начинала переживать из-за долгого отсутствия мужа, включала магнитофон с записью тренинга, представляла яркий солнечный день – и будто после долгого и изнуряющего заплыва проваливалась в забытье на пляже.

14

Вика почти никуда теперь не выходила: работа – дом, дом – работа. И поэтому обрадовалась, когда приятель Владимира пригласил его на свадьбу. Чем меньше дней оставалось до вылазки в ресторан, тем возвышеннее становилось её настроение. Купила новое платье. Почти вечернее. Из тёмно-вишнёвого бархата с золотистой пелериной. Сделала причёску в салоне-парикмахерской. Волосы причудливо заплели, вплетя в косу золотистые ленточки. Смотрела в зеркало – и не узнавала себя. Настоящая царица! Надушилась духами, благоухающими цветущим жасмином.

Свадьба была многолюдная и шумная, где половина народа друг друга совсем не знали. Кричали громко «Горько!», устраивали конкурсы, танцевали.

Она немного потанцевала в начале вечера с мужем, но по мере приближения ночи муж всё больше пьянел, танцевать ему становилось тяжело, он отсел от неё в компанию парней, где они что-то оживлённо обсуждали и смеялись. Она сидела в растерянности и скучала. Подошла к мужу, попыталась вытянуть его танцевать, но муж буркнул: «Отстань. Дай пообщаться!» Ушла за столик, рядом сидела влюблённая пара, которая только что подала заявление в загс. Ребята просто не сводили друг с друга глаз – и Вике казалось, что в их блестящих очах отражаются все люстры. Парень всё время гладил руки девушки, когда они ненадолго отдыхали от танцев, и влюблённо целовал то сгиб её локтя, то голубой ручеек вены, то прикладывался губами к атласным плечам подруги. Они не пропускали ни одного парного танца. Как только начиналась плавная музыка, парень тянул подругу в круг зала – и они танцевали, до неприличия тесно вжимаясь друг в друга. Рука его постоянно съезжала с её талии ниже. Вика с грустью смотрела на влюблённых, думая о том, что всё – дым. Сухие сучья, завёрнутые в бересту, прогорят, весело потрескивая, и от дыма не останется ни следа. Один серый пепел в глазах вместо огня.

– Позвольте, сударыня, пригласить вас на танец?

Вздрогнула от неожиданности, так как уже отсутствовала в этом зале, а была в том кафе, где Владимир необъяснимо и непостижимо для её здравого ума примагнитил её к себе.

Очнулась – высокий стройный блондин стоял перед ней.

Блондин оказался художником. Вёл её в танце очень легко. Порхала, как бабочка вокруг невзрачного цветка, думая: «Присесть или нет?» Оказалось, что юноша когда-то занимался бальными танцами и даже был дипломантом какого-то конкурса. Она не очень хорошо умела танцевать, но тут словно растворилась в партнёре. Кружилась в его надёжных руках, будто сброшенный с ветки осенний лист, подхваченный ветром. Ей казалось, что он даже отрывал её от пола и поворачивал в нужную сторону. Она забыла о муже, сидящем где-то за столиками и наливающим очередную рюмку. Губы подрагивали в улыбке, словно стрекозы крылышки. Глаза сияли всем светом люминесцентных ламп, отражавшихся в её зрачках, словно в тёмном омуте. Ей даже не очень-то интересен был этот художник. Просто она отдалась музыке и плыла по её волнам, где партнёр был отличный гребец, ведущий лодку через пороги.

За первым танцем последовал новый. Её душа будто на дельтаплане парила с замирающим сердцем... Она так хорошо никогда не танцевала. Ах, почему же она такая неуклюжая и её никто не научил танцевать?

Лица мелькают, вот её кружит уже не художник, а какой-то бородатый младший научный сотрудник на полголовы ниже её, вышагивающей на каблуках. Но это ничего, что ниже на полголовы: видно других танцующих, когда устаёшь смотреть в глаза, поднятые на тебя, словно к небу. Поверх голов танцующих она видит пьяного мужа, сидящего в компании друзей. Они что-то обсуждают и смеются.

Вот она танцует уже в кругу, где двое молодых людей держат её за руки, и счастливо улыбается, вспоминая ёлку в детском саду: там вот так же водили хоровод.

– Та-тата, та-тата...

Вдруг чувствует резкий рывок за руку – и круг размыкается, выпускает её и снова смыкается, превращаясь в единое движущееся целое...

Дальше её тащат куда-то по ступенькам мраморной лестницы – и она очень боится поскользнуться и сломать себе шею. Боковым зрением она видит перекошенное от ревности лицо мужа, и ей делается смешно.

– Ты что, очумел? Перебрал?

Потом её больно толкают в спину в случайно пойманное такси, что остановилось у гостиницы рядом с рестораном и высадило своих пассажиров, – они едут в гробовой тишине по ночному городу, где за окнами им весело подмигивают огни реклам... Муж укачивается по дороге, словно ребёнок, и спит, откинувшись на заднее сиденье. Вика будит его, когда они въезжают во двор. Муж растерянно встряхивает головой, не понимая, где он, и пытается отогнать пригрезившееся видение. Больно сжимает её предплечье, так, что она со страхом думает, что могут остаться синяки на её изнеженной коже. Дальше они с трудом поднимаются по лестнице, останавливаясь через каждые пять ступенек отдохнуть. Они опять не разговаривают.

Дома Владимир сразу же, скинув обувь, падает на застеленную постель и проваливается в небытие. Вика растерянно сидит на кухне и не знает, что ей делать. Идти спать в кровать, где сопит, как локомотив, муж, ей совсем не хочется. Пьёт горячий несладкий чай, опустив в него кружочек лимона... Подцепляет серебряной ложечкой дольку яблока из варенья и разглядывает её на свет, взяв пальцами. Ей кажется, что в её руке янтарь, который долго шлифовало море и наконец выкинуло на берег. Этот янтарь пропускает сквозь себя жёлтый электрический свет – и Вике мерещится, что это солнце, играющее на окаменевшей смоле в

солнечные зайчики. Она думает, что вот так и в жизни... Видим всегда то, что хотим видеть, не замечая, что это фантом. Крупные, как горошины, слёзы падают в горячий чай, растворяясь в нём, расплавленный от света янтарь течёт сладкой патокой по дрожащим пальцам. Она запирает крик в kloкочущем горле – и слышит доносящийся из комнаты ровный храп мужа, от которого хочется заткнуть уши. Она идёт в комнату, устраивается в кресле, положив ноги в другое, приставленное рядом. И чувствует, что висит между двух опор, которые вот-вот могут разъехаться от её неловкого движения. Ей хочется плакать. Сон, как тяжёлое ватное одеяло со сбившимся ватином – до такой степени, что местами ощущается лишь тонкий атлас, – медленно наползает на неё.

Скоро она с грустью обнаружила, что Владимир оказался не только ревнивым, но ещё и очень обидчивым.

Он мог дуться неделями. Вика не то чтобы чувствовала себя тогда виноватой, а просто дома ей становилось так же одиноко и некомфортно, как ощущала она однажды себя на пустынном морском берегу, когда бушевал ветер, штормило: волны раскачались так, что заливали весь пляж, долетая до парапета, установленного по краю тротуара. Зонтики и лежаки громоздились неприкайным сооружением на мокром асфальте, сложенные в штабеля, как дрова. Набережная была пустынна, так как брызги волн долетали даже до скамеек, выстроившихся перед отелями. Вика смотрела на эту ревущую турбину моря и понимала, что она способна перемолоть любого. Кинет, как щепку об скалы. И смоем твои следы... Соппротивление бесполезно. Надо только где-то переждать, когда всё утихнет, успокоится, глянет солнышко, сменится ветер, прорвёт стёганое ватное одеяло облаков, разбросает простынки по небу тонкой рваной бязью, быстро летящей и меняющей очертания, как во дворе на верёвочке на ветру...

Гроза-ярость возникала ниоткуда. Только что было ясно – и вот уже оглушительно и пугающе гремит где-то рядом: впереди и за спиной раскалывают небо ослепляющие газосварочной дугой вспышки молний. Туча, набухшая тяжёлым свинцовым паром, надвигается стремительно. Поднимается ветер, пригибающий к земле цветы, тщательно взлелеянные на клумбе, и ломающий ветки деревьев: кажется, что деревья заламывают ветви, словно люди руки в истерике. И вот уже первые капли града стучат по молодой клейкой листве.

Ссоры возникали на пустом месте. Вика могла просто не согласиться в чём-то с мужем. Кровь прилиwała к выбритым до синевы щекам Владимира, его глаза наливались, как у зверя, почуявшего раненую добычу, и он начинал кричать... На пол летели вещи: одежда, книги, пульт от телевизора, посуда... Сколько чашек было перебито за её недолгое время супружества! Ни в чём не повинную чашку жадно хватили и швыряли об пол. Чашка падала и разбивалась на мелкие осколки, которые уже не склеить. Осколки, как от разорвавшейся гранаты, врезались в бумажные обои и уродовали пол, застеленный линолеумом под паркет. То тут, то там возникала вмятина с рваными краями. Пол был как в оспинах. Летели галками чашки с чаем и кофе, баночки со сметаной и кетчупом, вазочки с вареньем и мороженым, оставляющие свой неповторимый узор на стене, намалёванный художником-импрессионистом.

Владимир даже не думал убирать эти осколки... Просто перешагивал через них, иногда с хрустом давил. И никакая сила не могла заставить его взять в руки веник. Вика сама молча подметала эти осколки от разбитой посуды.

Скандалы всегда возникали из-за ерунды.

Она несколько раз пыталась выбежать из дома во время ссоры и уйти к родителям, но муж проворно опережал её и вставал перед дверью, заслоняя выход. Лицо его было перекошено, точно ему сверлили зубы без наркоза, губы подёргивались, словно распахнутые красные жабры рыбы, мучительно хватаящей ртом хлынувший сухой воздух.

Скандалы выматывали. Разговоры с ним всё чаще заканчивались каким-то опустошением. Он заводился с полоборота. Кричал, огрызался. Она уже опасалась с ним разговаривать. Боялась того, что будет снова сидеть и смотреть в стену, пытаясь прийти в себя, – и ничего не делать, так как просто не сможет работать: будет прокручивать снова и снова, как полюбившийся сюжет фильма, сцены ругани; губы начнут мелко подрагивать, словно лепестки раскрывшегося цветка, на который важно уселся шмель, но плач будет kloкотать и вскипать пузырьками, словно артезианский источник, где-то глубоко внутри, не прорываясь наружу. Будет снова думать о том, что им надо расходиться, и о том, что она ни за что не сделает этого первого шага сама: слишком уже привыкла и срослась. Она уже на многие его выходки перестала обращать внимание. Нет, она реагировала, и реагировала каждый раз очень болезненно и эмоционально, но всё было как-то поверхностно, не затрагивало её сердца. Слово она берегла его, заранее прикрывала, будто голову от удара металлической каской. Так... тяжёлый звон, но голова цела... Она стала бояться с ним разговаривать, пересказывать новости, принесённые с работы. Почти никогда теперь не знала, когда он вспылит.

Ссоры были как цунами. Накатывали внезапно, погребая под холодной, сильной и неотвратимой волной всё хорошее, что было между ними, что вдруг обнажилось для глаз другого и что они с удивлением разглядывали, словно ракушки на открывшемся дне. Она потом чувствовала себя выпотрошенной, точно пойманная рыба, которую она ещё живую пыталась разделать для ухи. Думала тогда, что вот про таких людей и говорят: «энергетический вампир». Самое ужасное было то, что она просто не могла предугадать вот эти вспышки агрессии. Скажешь пустяковую случайную фразу – и пошло-поехало...

После его вспышек не могла ни заснуть, ни читать, ни работать. Размышляла в который раз, что надо бежать, зная, что никуда не убежит. Быстро переплелись корнями и стеблями так, что не выбраться. Выюнок на чертополохе. Прилежно училась уходить от ссор. Старалась не отвечать, когда он цеплялся. Старалась не спорить, зная, что думает по-другому, и поступать по-своему. Это становилось всё легче. Уже не любое слово ранило, вызывая ответный шквал обвинений.

Плыли, как брёвна в весеннее половодье. Сами были и ледяным течением реки, и брёвнами, и тем порогом, напорившись на который брёвна начинают кружиться на месте, не находя выхода... В тёмном омуте страстей не утонуть, только и кружиться в танце, как лёгкий сор.

не изменит в своей жизни? Иногда Вика думала о том, что можно всё ещё переписать. Ну, испортила паспорт... Ну и что? Мама ей говорила о том, что она найдёт ещё подходящего ей человека и что она может вернуться домой в любой момент.

Что их связывало? По сути, ничего. И вся жизнь была впереди, всё можно было переписать и переиначить. Неужели вся её большая любовь – лишь первое очарование юности? Губы, скользящие по телу, легко, чуть касаясь влажного атласа... Точно заячий хвостик махнул по коже... Точно промелькнула белка по забору...

Она всегда думала, что брак – это когда живёшь как за каменной стеной, когда есть на кого опереться и за спину кого спрятаться, когда чувствуешь во всём поддержку. А тут... Только власть рук и губ, которые, оказалось, могут притягивать и приклеивать тебя сильнее, чем родство душ: как металл на морозе. Оторвать можно только с кровью.

Говорить было не о чём, кроме быта. У него по телевизору – футбол и боевики, у неё – психологические драмы. Если она смотрела кино, а в это время по другому каналу шёл хоккей, то он просто переключал канал, не обращая внимания на её возмущение. Раньше она думала, что так жить она никогда не сможет. Оказалось, что всё это вполне возможно. И она даже была почти счастлива.

Она ждала его с работы, с нетерпением поглядывая на часы и прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь. И ничто не шло ей на ум. Поворачивался ключ в замке – и она кидалась в прихожую, точно собака, заведшая своего хозяина. Тонула в его распахнутых объятиях, чувствуя винный вкус терпкого винограда на своих губах и уплывая по волнам прикосновений. Качалась на волнах, словно выброшенный цветок, пьющий воду, оторванный от корней и от земли, всасывающий её стеблем, всеми тугими листьями, бархатными лепестками. Казалась себе речной кувшинкой, что живёт только в воде и моментально никнет, перенесённая в вазу на столе... Оказывается, ей надо так много нежности, море нежности, океан нежности... Как она раньше могла без них существовать? Уму непостижимо... Обвивает руками и ногами, точно выюнок, свою опору, чувствуя, что одной уже не вытянуться и не дотянуться до пригревающего солнца.

Неужели это так может быть, что живут два совершенно разных человека рядом и совсем не знают, о чём друг с другом говорить? Это было странное ощущение: жить рядом с человеком, который становится всё роднее, и понимать, что ему медведь наступил на ухо? Как так может быть? Она даже не пытается донести до него то, что её мучает. Знает, что расплещет, когда он оттолкнёт протянутую руку: он не поймёт её никогда; замыкается, как в скорлупе, а она даже и не пытается её пробить: заползает, как черепашка под толстый панцирь с головой, не по годам мудрая черепашка Тортилла.

Она сделала ещё одно удивительное и очень неприятное для себя открытие: оказывается, Владимир знал и употреблял слова, от которых она вздрагивала, как от ожога, и долго потом чувствовала себя неуютно, словно вся была в волдырях от прикосновения. Слова слетали с его губ, как шелуха с семечек, и она брезгливо морщилась. Сколько ни пыталась она объяснить ему, что ей неприятно, ничто не помогало. Но он же не только общался среди военных, его мама преподавала студентам и считалась женщиной интеллигентной, хоть и очень нахрапистой и оборотистой...

Жизнь – это цепочка разочарований. Несбывшиеся мечты, как матрёшки, выскакивают одна из другой – и вот остаёшься пустой. Чувствовала себя певчей птицей, которой отводится роль курицы. Можно только сидеть на насесте и хлопать крыльями. Со двора не улетишь.

Она вспоминает, как недавно порхала, точно на крыльях, как ждала встречи с ним и

думала: «Только б он позвонил...», как счастливо улыбалась, услышав его голос... Куда всё это так быстро делось? Семейная жизнь кажется ей теперь освещённым туннелем, которому не видно конца. Она сама ограничила этот мир туннелем. И соскочить-то не соскочишь... Везде бетонная стена.

Она с удивлением для себя открывала, что она ждёт не дожждётся мужа, а он приходит уставший и бухается спать. Ей оставалось перемывание до скрипящего блеска чашек, тарелок и кастрюль, но даже звуки льющейся в раковину воды раздражали супруга, мешали ему отдыхать. Она старалась ходить по квартире на цыпочках. Купила тапочки на войлочной подошве, изображала из себя кошку, умевшую с рождения ступать мягко.

Её постоянно тянуло домой, к папе с мамой. Но появлялась там она всё реже: общалась с родителями по телефону, хотя часто и подолгу.

Ночи были лунные. Жаркий шёпот, сбивающееся дыхание в подставленное для ласки ухо, тёплые мягкие губы, скользящие по её шёлковому изогнувшемуся телу и исследующие каждую его впадину, словно слепой крот...

«От тебя можно ослепнуть! Ты моя белая шоколадка», – смеялся он. Она размякала в его объятиях, таяла, растекалась, оставляя на его руках сладкие следы, которые память могла облизывать при дневном свете...

Отец предложил Вике поехать в командировку на целых три месяца на стажировку во Францию. Она никогда не была за границей! Париж! Вика не могла поверить в такое счастье. Она увидит Париж! Это было из области несбыточного, о чём даже и помечтать до «перестройки» не могли...

Когда она озвучила мужу это предложение, то он сначала долго молчал, будто прожёвывал большой кусок недоваренного мяса, который запихал целиком в рот. Вика чувствовала, как он заводится: подсасывает бензин для езды по ухабам. Потом закричал:

– Что ты там будешь делать одна без языка? Я тебя туда не пушу! Ты никуда не поедешь!

– Я не твоя собственность! Я не собираюсь гробить свою жизнь и быть приложением к тебе. Это же профессиональный рост... И вообще нормальные люди радуются такой возможности! – парировала Вика. – Эти твои выпивоны и друзья-алкоголики, тянущие из тебя деньги, шляния непонятно где... И дома ты ничего не делаешь, только жрёшь! Тебе можно всё, а мне ничего... Ты и женился на мне из-за отца. Матушка твоя решила с рук сбить, пристроить! Мне вообще всё надоело!

Дальше всё завертелось, как в фильме ужасов. Сухой треск халата, будто отдирают скотч от катушки; боль в руке, которую скрутили и пытались вывернуть, точно руль машины, занесённой влево, что неожиданно повело на глинистой дороге... Она попыталась выскочить в подъезд, но муж, как страж, стоял у двери... Отшвырнув её и пнув ногой, схватил за волосы и стал раскачивать её голову из стороны в сторону, точно качели...

– Надоело!

– И зачем я только связалась с тобой! – Она вырвалась, ударив его кулачком, и понеслась к балкону их второго этажа, который находился над навесом, ведущим в подвал: с него можно было спрыгнуть. Но балкон надо было ещё открыть: тот был заклеен на зиму лейкопластырем.

Дальше она смутно помнит, что было... Дверь на балкон не открывалась.

Поясницу обожгла острая боль (после она узнает, что это было шило), и, уже плохо понимая, что с ней происходит, ударила керамической вазой в окно, смутно проблёскивающее сквозь серую пелену тумана, застилающую глаза, – и услышала весёлый звон стекла, рассыпающийся хрустальным смехом наяд. Руки ошпарили новые всплески боли и, не помня себя, рванулась в образовавшуюся брешь замкнутого пространства, обмирая от страха, догадки о непоправимости случившегося и боли; прыгнула из окна на крышу лестницы, ведущей в подвал, неловко взмахивая тонкими руками, по которым проворно стекали алые ручейки. А затем скакнула на асфальт, обдирая нежную кожу лодыжек и бёдер до мяса и чувствуя, как крошечная темнота заволакивает сознание.

Очнулась в больничной палате, над головой медленно кружился серый потолок: казалось, что трещины на нём, будто ветки деревьев среди зимы, которые качает ветер.

*Молчат светлячки,
Но тайный огонь их сжигает.
Знаю – они
Чувствовать могут сильнее
Тех, кто умеет петь...*

Мурасаки Сикибу,

(«Повесть о Гэндзи», X в., пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)

Глеб приехал в город, где родилась и жила Вика, из маленького провинциального районного центра учиться. Приехал с надеждой выбиться в люди. Жизни своих родителей, от звонка до звонка влачивших жалкое существование в их грязном городке, полном покосившихся домишек частного сектора, он не хотел ни за что на свете. Его мать всю жизнь проработала медсестрой, отца же он почти не помнил. Родители расстались, когда ему было пять лет, через два года после развода тот погиб в пьяной драке.

Мать с утра до ночи пропадала на работе, брала дополнительные дежурства ночью и в выходные, работала на полторы-две ставки всю жизнь, насколько помнит Глеб. До двенадцати лет его воспитывала бабушка, после её смерти он был предоставлен сам себе: мама редко вмешивалась в его дела, считала, что главное, чтобы сын был сыт и здоров. Она была против его отъезда, так как боялась остаться совсем одна, а он уже представлял какую-никакую мужскую опору. Кроме того, ей казалось, что в жизни большого города слишком много соблазнов и трудно остаться с незамутнённой душой... Но останься он дома, ему грозила бы армия... Поэтому она смирилась с тем, что сын уезжает, и лелеяла надежду, что тот после окончания института вернётся в их город, о его распределении она уж как-нибудь позаботится: знакомых среди больных пруд пруди.

Глеб подал документы на физфак дневного обучения, поступил сразу, но ему пришлось подрабатывать охранником ночью на небольшом заводике, производящем кухонную утварь. Иногда по выходным он ездил на вокзал разгружать вагоны. Платили сдельно. Жил он в общежитии, и, пока учился, проблем с жильём не было. Писать диплом распределился на кафедру в НИИ, думая о том, что надо как-то удержаться в нём после окончания. Хотя платили научным сотрудникам мало, здесь была перспектива защиты, а значит, и дальнейшего карьерного роста. «После защиты, в принципе, – думал он, – можно будет уйти на какое-нибудь предприятие или, если повезёт, даже в вуз». Проблема распределения решилась легко. Юношей-выпускников было мало, их брали в институт практически без конкурса.

Жильё теперь пришлось снимать. Арендовали маленькую квартиру вдвоём с сокурсником, но зато без хозяина: жившая в ней бабушка умерла, а родственники

планировали заселить в неё подростковую внучку, но та покуда оставалась с родителями. Пока был не женат, его не очень мучило съёмное жильё, но он отлично понимал, что получить квартиру в городе невозможно, если только не поехать куда-нибудь на Север. Вообще-то его всё устраивало, это было лучше в любом случае, чем их маленький городишко, больше похожий на посёлок, чем на город. Жениться он не торопился, так как жену приводить было некуда, а съём квартиры для семьи уже не поделишь с другом. Впрочем, он не был рационалистом, и, влюбись, он бы, наверное, как-то попытался решить возникшие проблемы, но времени на девушек, пока учился, почти не было, а после окончания как-то все они пробегали стороной мимо его сердца.

Учился он отлично, и после института даже была возможность пойти в аспирантуру, но материальный вопрос заставил его сделать другой выбор... В аспирантуру он всё же поступил, но в заочную.

У них в отделе работала дочь директора НИИ, академика, бати, как его называли. Как только он услышал, что Вика дочь академика, что-то щёлкнуло в нём, будто сработал металлоискатель: «Она должна быть моей». Она нравилась Глебу: тихая, скромная, умная, белокурое домашнее создание. Он хотел было приударить за ней, но с огорчением узнал, что она замужем. Работала она в соседней лаборатории – и они почти не общались. Девушка была окружена как бы стеклянной звуконепропускаемой стеной.

Он не очень прислушивался к сплетням, но когда случайно услышал, как женщины в его лаборатории, приглушив голоса, бурно обсуждали новость про дочку директора, ужаснулся. Живо представил Вику с изрезанными руками и шилом в сантиметре от сердца.

Эта картина всё время стояла перед глазами, не давая работать. Вика не появлялась в отделе три месяца, её навещали девочки из её лаборатории, и каждый раз после их визита он настраивал уши локатором на слабые сигналы, несущие информацию о Вике.

Вика появилась только осенью. Худенькая, похожая на полупрозрачную моль, порхающую под хлопки в полутёмной прихожей. Она ни о чём не рассказывала, и спрашивать её стеснялись. Ушла с головой в работу.

Он думал, как подкатиться к Вике, не вызвав пересудов.

Вика часто задерживалась допоздна: у неё были какие-то эксперименты. Глеб тоже решил продлить себе рабочий день. Слонялся по комнате, подкарауливал, когда Вика отправится домой, выглядывая в коридор, проходил взад-вперёд мимо её лаборатории, заглядывая в полуоткрытую в комнату дверь, два раза зашёл: один раз попросил парафин, в другой – реактив. Оба раза неловко хохмил и что-то рассказывал из своей студенческой жизни. Как только она отправилась к лифту, кинулся за ней. Хотел пойти её проводить и предложить погулять по откосу, но, спустившись вниз, увидел, что её ждёт отец. Вика села в чёрную машину отца – и они уехали, оставив Глеба наблюдать за их отъездом в стеклянном фойе института.

На следующий день Вика снова сидела в лаборатории допоздна. Глеб решил, что он продолжит хождение в гости. Но девушка прибежала сама с просьбой помочь ей заменить картридж у самописца: ей срочно надо записать данные, а чернила кончились, инженерная служба – давно дома. Он посмотрел на тоненькие Викины руки, перепачканные красной краской, – и перед глазами встала картина Викиных рук, изрезанных разбитым стеклом. Красные чернила на тонких пальчиках и почти детской ладошке казались ему каплями крови.

Нежно поцеловал тыльную сторону ладони. Пробежал губами по шёлковой коже, резко

пахнувшей каким-то специфическим реактивом. Перевернул ладонку внутренней стороной – по руке бежали красные тоненькие ручейки линий. Самым широким ручьём текла линия ума. Линия жизни была прерывистой и не очень длинной. Венерин бугор краснел большой полянкой с распутившимися маками. Руки первоклассницы-замарашки, перемазанные чернилами и фломастерами.

Картридж был заполнен, самописец писал кривые, напоминающие кардиограмму неровно бьющегося сердца. Он сидел в кресле, расположившись около приборов, и смотрел на пульсирующую синусоиду, рисуемую на миллиметровом листе бумаги, думая о том, что вот так, наверное, и вся наша жизнь – качание по волнам синусоиды, где мелкие волны, догоняя и набегаая друг на друга, интерферируют и собираются в большую волну.

Дальше они гуляли по обледенелому откосу, и он осторожно поддерживал Вику под локоток, чтобы не упала на своих каблуках-столбиках. С реки дул пронизывающий ветер, хотя реки и не было будто вовсе. Было ровное снежное поле, еле различимое в вечерней тьме. Огни на реке не светились. Мутные фонари с залепленными снегом лицами, стоящие на откосе, покачивали головами, роняя тусклый свет. Две неровные тени, маленькая и большая, забавно пошатывались на льду в их освещении, точно пьяные. Вышли к ёлке на площади. Ёлка была в этом году украшена в салатовые фонарики и люминесцентные игрушки. Казалось, что молодые зелёные иголки и шишечки, осыпанные яблоневым и черёмуховым цветом, пробиваются сквозь вечнозелёную хвою. Даже пятиконечная звезда была не привычно красной, а золотой с зеленоватым фосфоресцирующим в ночи ореолом. Ёлка была настолько большой, что чудилось, звезда улетала кометой в небо, оставляя газовый шейф свечения в форме наряженной ели.

Если бы скрип снега можно было записывать как музыку, то его полустёртые следы на уже утопанном снегу служили бы ей нотами. Её же следы тонких каблучков бежали как многоточие, обещая глубокомысленное продолжение...

Её глаза поймали его изучающий взгляд сквозь дымчатые очки. Она почему-то подумала: «А зачем он носит дымчатые стёкла зимой, когда нет солнца?» Она всё равно видела его глаза сквозь этот защитный экран, видела даже через стол, заставленный тарелками с яствами, различала чёрные расширившиеся зрачки, будто у наглотавшегося белладонны. Да и сами эти зрачки ей почему-то напомнили чёрные блестящие ягоды этого растения, на которых играли лучи света. Она бесстрашно встретила эти ягоды его взгляда, таящие в себе дурман, и ей даже хватило сил на то, чтобы её взгляд стал долгим, немигающим. Она готова была помериться с ним силами. Кто кого? Но в этом взгляде был и призыв. Она уже знала, что выделена из толпы, замечена. Теперь его глаза будут неизбежно находить её, как миноискатель. Делать всё сужающиеся круги, чтобы замереть в одной точке. И вот уже стрелка дрожит и зашкаливает... Но внезапно Глеб отвёл глаза, не выдержав её взгляда. Бежал, ступался, обвёл взглядом комнату, уткнулся в блокнот. И она это ясно почувствовала, что он понял, как испугался этого поединка зрачков... Спрятался за опущенными ресницами.

Любовь, будто внезапно начавшееся мартовское снеготаяние, закружила с головой. Она думала, что уже и не полюбит никогда, но тут внезапно в её жизнь вернулись цвет, вкус и

запах. Возвратилось состояние, когда ждёшь встречи со сбивающимся биением сердца. Оно то замирает в предвкушении свидания, то съёживается от холода в молчаливом ожидании, то бьётся так учащённо, что кажется: сейчас выскочит из груди. Его стук отдаётся в висках: бум-бум, бум... Ходила, как лунатик, счастливо улыбаясь и ничего не видя вокруг. Только вот эту лунную дорожку, по которой надо идти, и не важно, что это не солнце, которое греет.

Влюбилась она в него сразу. Если бы ей сказали раньше, что она, вдумчивая и рассудительная девушка, способна так влюбиться, она бы не поверила. Она думала, что первый её брак навсегда отобьёт охоту к любви и семейной жизни. Но оказалось, что сквозь пепелище прорастает трава – удобренная, нестриженная и зеленеющая пышными пучками.

Он был отличником, очень начитан, молодой человек, который будет делать карьеру. Другого рядом с собой она и не представляла. Провинциал, который станет тянуться вверх. Впрочем, не только это вызвало у неё интерес. Он многое умел делать руками, а в семье родителей с этим всегда были проблемы, и не чурался дел, что многие считали «женскими»: стирал, умел готовить. Рассказывал, что помогает матери в саду. И вообще был самостоятельным, положительным, вызывающим доверие, на которого можно будет в жизни положиться. Подумала, что из него получится неплохой муж. Её радовало и то, что он так же, как и она, занимается наукой.

Теперь Глеб частенько задерживался на работе – и они сидели и болтали. Ему нередко удавалось проводить её до дома, старенькой сталинки с облупленной штукатуркой на фасаде, уютившейся в тихом и узком переулке, засаженном старыми огромными тополями, которые почему-то здесь не выпиливали, несмотря на то, что весь тротуар и газоны были будто засыпаны белым пушистым снегом. В лаборатории уже шушукались, и он чувствовал, как пересуды толкаются ему в спину, точно порывы ветра.

Как все мы ждём от Нового года чуда, так снова ждала его и Вика.

Опять город был расцвечен радужными огнями и казался завораживающей сказкой. Снова чудище протягивало ей аленький цветочек и говорило: «На, возьми, не бойся». На улицах выросли голубые олениа и сиреневые снеговики, горевшие манящим светом далёкой мерцающей звезды. Вновь на прилавках были рассыпаны блестящие шары с забавными отражениями, причудливо перекрученные и расписанные сосульки, с потолка стекал серебряными и золотыми струями дождь, и казалось, что всё лучшее, волшебное впереди, надо только научиться ждать... Да так оно и было: жизнь только начиналась.

На конференции молодых специалистов сидели на первом ряду вдвоём. Глеб прижимался к ней, съехав с кресла и полулёжа в нём. Чувствовала горячее его бедро, которое прожигало сквозь толстую ткань. Хотела инстинктивно отодвинуться, а потом передумала. Побоялась его обидеть. Да и ей было приятно и немного смешно. Ощущала его плечом, он прижимался не совсем уж откровенно, а как ребёнок к маме. Сама она не чувствовала ничего, никакого возбуждения. Она сидела на краю у прохода, и двигаться ей было некуда. Глеб точно сталкивал её с обрыва. Потом встал и вступил в дискуссию с докладчиком, зачем-то выйдя в проход. Вернувшись, не пересел подальше, а снова прижался ещё сильнее, как будто старался слиться со всеми изгибами её юного тела. Когда пришла домой, удивилась тому, что помнит это странное прикосновение и что бедро у неё горит до сих пор, а внизу

живота вдруг зачирикали воробьи, клюя крошки воспоминаний.

В выходные Глеб позвал её на выставку Джозефины Уолл, которая экспонировалась у них в городе. Пришёл с тремя розами цвета заходящего солнца. На выставке были представлены лишь фотографии картин, но Вика всё равно погрузилась в чарующее волшебство и сказочный мир, где птицы и стрекозы, бабочки и феи, летучие рыбы и пух одуванчиков, единороги и волки, эльфы и цветы – всё танцевало в свободном полёте, следовало за радугой и всевидящими мерцающими звёздами в поисках гармонии, любви, надежды и радости. Захватывало дух от полёта, рождающего вдохновение ветра и воздуха. Когда любовь парит в воздухе, всё возможно и по плечу. Сколько ярких красок: сиреневых, синих, жёлтых и зелёных! И почти нет красных: цвета тревоги, крови и ветреного заката... Сколько лёгкости, женских метаний и мечтаний, ожидания и поисков любви находила Вика в этих репродукциях... Зачарованной тайной и магией ей хотелось стоять перед каждой часами и пытаться разгадать удивительный мир образов художницы. Она была так благодарна Глебу, что он погрузил её в эту страну невиданного чуда и удивительной гармонии, что, казалось, могла быть только в райском саду.

После выставки гуляли, взявшись за руки, по фосфоресцирующему заснеженному городу, где снег летел на землю маленькими голубыми, изумрудными и сиреневыми светлячками, парящими в морозной ночи. Сиреневые и розовые ёлки, будто посыпанные сахарной пудрой, сопровождали их медленный путь. Её маленькая ладошка в серенькой варежке из кроличьего пуха свернулась, как котёнок в тапке, в большой кожаной рукавице Глеба.

Чужие губы были горячими и шёлковыми. Скользили, как сорванная травинка, по её губам. Нежно, осторожно, мягко, едва касаясь. Снежинки на ресницах таяли от чужого сбивающегося дыхания.

Пришла домой, поставила розы в вазу, срезав со стеблей колючки и вбирая в себя влажный пленяющий аромат. Подходила несколько раз за вечер – и снова жадно вдыхала, как наркотик, расширившимися ноздрями чарующий и кружащий голову запах, погружаясь в мир горячечных грёз. На другой день бросила, проходя мимо, беглый взгляд на розы, стоящие на комодe, – и замерла в оцепенении, точно ребёнок, увидевший сказку про Алису в стране чудес. Внутри розы цвета недозревшего граната, напоминающей ей искажённый и раскрывшийся в страсти рот, будто горела свеча, делая её лепестки полупрозрачными. Она подошла к цветку – и осторожно потрогала его, затем попыталась заглянуть внутрь, разворачивая, словно пелёнки на ребёнке, нежные, шелковистые на ощупь лепестки. Но ничего не нашла. Никакого волшебного фонарика внутри цветка спрятано не было. С недоверием потрогала его пальцем. Цветок светился, как огромный светлячок. Это было какое-то совершенно необъяснимое чудо. Несколько раз за вечер она осторожно подходила к цветку и смотрела на него с замиранием сердца, будто боявшегося громким стуком колёс, несущихся по шпалам в неизвестность, спугнуть волшебное видение. Цветок продолжал излучать совершенно удивительное волшебное сияние. Только на другой день она поняла, что это зеркало, стоящее на комодe, отбрасывало солнечный зайчик от люстры. Но ощущение необъяснимого чуда и изумления осталось. Позднее оно переросло в знание, что, чтобы выжить, надо создавать иллюзии, а солнечные зайчики могут рождаться и от лампочки в сорок ватт, засиженной мухами.

Когда она обмолвилась дома, что у неё появился новый ухажёр, мама была встревожена. Сказала: «Тебе что, не хватило? Опять хочешь приключений?» Но на её сторону встал, как всегда, отец, успокоив жену тем, что парень, говорят, положительный, неизбалованный, и из него может получиться толк, а их дочка и так пребывает в депрессии и ей надо выбираться из состояния, когда мир окрашен в чёрные и серые краски. Он предложил матери посмотреть на приятеля поближе, скажем, пригласить его на Новый год или даже просто так: почему бы не показать ему кинофильмы про путешествия маленькой Вики в Крым и Прибалтику?

Смотрели фильмы, повесив белый экран на стену. На стене плескалось море, которое Глеб ещё никогда в своей жизни не видел. Море ласково каталось по пляжу, перебирая обкатанную гальку ленивыми и разморёнными движениями... Море было прозрачно настолько, что можно было видеть дно далеко от берега... Голубой залив. Синие горы тонули в оранжевом мареве. Казалось, что по поверхности скал пасутся белые и серые овечки: цветущие деревья были неразличимы, а вот это странное ощущение, что можно не только расти на почти отвесной стене, но даже и гулять по ней, осталось у Глеба надолго. Камни были перемешаны с землёй и еле различимыми лужайками зелени. Вдали виднелись два серых корабля, застывших в море, точно причудливые скалы. Пальмы, похожие на зонтики из павлиньих перьев, раскидывали ажурные тени... Маленькая Вика входила в воду осторожно, боясь обжечься ледяной водой. Вода была, по-видимому, тёплой: другие кидались в неё смело. Его же любимая разгребала воду перед собой руками, точно отгоняла опасность, и ступала на носочках, забавно семеня по камушкам... Он вспомнил про её первый брак и подумал, что, повзрослев, она стала смелее, а вот теперь, похоже, снова ступает на носочках, боясь поранить ноги. И плыть тоже боясь...

Она знала теперь точно, что из дома она не уедет никуда и, если даже она снова выйдет замуж, то пусть её муж будет жить у них...

Зачем люди женятся? Бегут от одиночества – но снова попадают в его тиски. Только одиночество это уже вдвоём, без иллюзий что-то в жизни сменить или переиначить, когда дети мокрыми глазами возвращают на землю, даже если снова рванёшься полетать. Почему тянет иметь общий кров? Ведь можно и так. Без обязательств, без слёз, без встрясок, без любви? Вика жила в благополучной семье – и ей казалось, что и в её жизни должен быть мужчина, с которым можно жить как за каменной стеной, а не стоять на перекрёстке, поёживаясь и жалея о том, что даже за плечи тебя обнять некому: только вот так скрестить руки на груди и чувствовать собственное тепло. Почему хочется иметь своё продолжение? Боишься уйти в небытие, не оставив частички себя на этой земле... Думаешь о том, что должна быть родная душа рядом, которая обязательно будет понимать тебя с полуслова, ведь гены-то в ней твои...

А может быть, просто хочется нежности и тепла, как котёнку, который ищет человеческое тело и то запрыгивает на колени, то трётся о ноги, то сворачивается клубочком на груди, забирая от тебя частичку уютного дома, приобретая ощущение защищённости и

передавая тебе своё тепло, разогреваясь, как печка, и леча больные места?

Хочется, чтобы в благодарность тебя гладили – и обязательно по шёрстке – и щекотали брюшко, а ты блаженно жмурился и мурлыкал от счастья. Она снова ощущала на своих губах вкус нектарин.

Губы порхали, как крылья бабочки, по телу, слегка касаясь испуганной кожи в гусиных пупырышках, – порхали, пока бабочка не садилась и не замирала на минуту внутри розового цветка, – и вот уже цветок выпрямился во весь рост, тело выгнулось радужным мостиком, и молния без грома пронзает, на минуту обездвижив тело...

– Ты мой золотой, мой милый, мой единственный, ворвавшийся, как солнечный луч сквозь щель между тяжёлыми ночными шторами.

Облизывала губы, вспоминая и повторяя чужие прикосновения. А за окном стояла весна, хотя ещё весь февраль был впереди, с его вьюгами, завывающими волками в ночи. Но пока январь смотрел мокрыми очами, по карнизу радостно звенела капель и съезжали, будто отрываясь от опоры и улетаая, снега с крыш – и даже в комнате пахло весной и набухшими почками вербы. Жизнь снова была полна гомона птиц, воробьи и голуби тоже пели, и сороки, щеглы, синички, свиристели старались наперегонки... И попугайчики в клетке передразнивали всех по очереди. А внизу живота пробились сквозь толстую корку льда первые крокусы и тянули свои шеи, будто птенцы из гнезда в ожидании корма, влажно согретые выглянувшим из-за туч солнцем.

Свадьбу решили не играть. Ребёнок уже притаился под сердцем, и оно качало кровь по его сосудикам. Вопрос о жилье не обсуждался. Глеб просто переехал в дом академика. Мягко и осторожно обнял её сердце и положил в карман брюк.

В сущности, она хотела всего того, что хочет большинство женщин: иметь рядом надёжного и заботливого мужчину, согревающего её своим телом, точно в мороз нежные цветы для любимой женщины, которые несут, спрятав на груди под полурастёгнутой курткой и мохеровым шарфом. Она хотела благополучия и любви.

Сначала их дни были полны безмятежного взаимопонимания, когда нежность переполняла обоих, и они думали: «Неужели чудо возможно?» Экстазы обладания и гордости поднимали их над землёй, и они с усмешкой наблюдали за суетной и муравьиной жизнью других, думая, что эта чаша их минует. Они так сильно и бережно прижимали друг друга к себе, словно бежали друг к другу издалека – и вот наконец добежали и можно обняться.

Дни безмятежного, как отпускной солнечный день на даче, взаимопонимания чередовались с приступами отчуждённости и неприязни, которые быстро проходили, как грибной дождь.

Беременность Вика переносила тяжело. Ей всё время хотелось спать, она была вялая и безразличная ко всему, её постоянно мучила тошнота: почти совсем не могла есть – проглотив две ложки пищи, тут же бежала в туалет, зажав рот; отекали ноги, лицо опухало так, что казалось неживым, будто у надутой куклы. Серые мешки под глазами, похожие на вздувшуюся шпукатурку на грязной побелке потолка, не пропадали ни на день. Замучила родных просьбами купить то икры, хотя бы из минтая, то персиков, то черешни, то ветчины, которых ей почему-то хотелось чаще всего ночью. Она стала очень раздражительной и

срывалась на всех домашних. Чтобы как-то поддерживать себя в равновесии, вспомнила первого мужа – и теперь релаксировала под грудной женский голос, уверяющий, что она качается, как в колыбели, в гамаке на даче под разливы соловьиных трелей. Она почти мгновенно проваливалась в сон, услышав «колыбельную» аутотренинга. Глеб заходил в спальню и видел почти каждый вечер одну и ту же картину: жена спала, положив ладонь под щеку и прижимая к груди плюшевого слонёнка.

Вика была совершенно не готова стать матерью, ей нравилась её работа, не была ещё закончена кандидатская, и она не чувствовала в себе пока никаких материнских чувств. Одна растерянность: только что она принадлежала себе – и вот уже ещё не родившийся ребёнок по частичке забирает от тебя. Ей так хотелось побыть любимой и насладиться неожиданно открывшимся ей миром гармонии, где она чувствовала себя точно в цветущем вишнёвом саду. Они собирались поехать в этом году путешествовать по Средней Азии, но замучившие её токсикозы вынудили изменить планы, и ей было очень обидно.

Она боялась родов, грубая телесность, приземлённость всегда отталкивали её. Ей хотелось быть нежным и хрупким цветком в петлице, что бережно оберегают от ветра и дождя и что бросается в глаза всем встречным и является украшением и гордостью его носителя. Но по мере того как живот рос, Вика постепенно смирялась с мыслью, что её жизнь всё больше входит в колею, задумывалась о том, что происходит с ней, и уже радовалась предстоящим переменам. Она разговаривала с животиком и прислушивалась к толчкам внутри себя. Все её мысли постепенно стягивались, будто раскрошенный пенопласт к водовороту, и крутились вокруг одного... Спала она очень плохо, живот мешал: на спине было тяжело, на боку неудобно, закидывала ноги на Глеба, но тот, заснув, быстренько стряхивал их с себя – и она закидывала снова, но он опять сбрасывал ненужный груз. И так до утра.

Диссертация была быстренько дописана не без помощи отца, и отец помог ускорить защиту, чтобы успеть с ней до рождения малыша.

Она очень боялась рожать, ей почему-то казалось, что она или умрёт, или ребёнок родится мёртвым, а если не мёртвым, то больным. Перед глазами стоял малыш с синдромом Дауна, с розовыми культиками до колена, с заячьей губой и родимым пятном вполлица.

Глеб оказался заботливым и чутким мужем. Она теперь жила как за двумя каменными стенами: одной большой, а другой поменьше, но которая день ото дня вырастала по кирпичику.

Рожала она тяжело, почти сутки, с множественными разрывами. Отец, используя свои связи, устроил её в палату, где можно было присутствовать мужу. Но Глеб просидел с ней пару часов, держа её за руку, вытирая пот со лба и отводя мокрые пряди, и сбежал, сказав, что ему стало нехорошо, он слишком эмоционально всё воспринимает и в глазах у него всё плывёт. Лицо у мужа было испуганное, как у ребёнка, увидевшего шприц в руках врача.

Ребёнок родился нормальным, весил три килограмма двести граммов и всё время орал, как маленькая сирена. Когда ей показали окровавленный комочек, кричащий точно мартовская кошка, и сказали, что это её сын, она находилась в полубессознательном состоянии и почти ничего не воспринимала. «Ну вот, этот ужас кончился!» – сквозь полузабытьё и боль подумала она. Но оказалось, что это только начало.

Не успела она отойти от родов, как ей сунули кулёк, из которого выглядывало красное сморщенное личико, которое, на её удивление, ловко и больно схватило набухшую грудь. Теперь болело ещё и здесь. Через несколько дней грудь распухнет и будет полыхать, точно

обгоревшая на жарком южном солнце, жадные губы её сына будут вызывать распирающую боль – и снова над ней будет склоняться лицо в голубом колпачке и голубой маске, напоминающее ей инопланетянина.

Через два дня у ребёнка поднялась температура – и его забрали в реанимацию с диагнозом «пневмония». Потом в выписке написали, что внутриутробная, но Вике казалось, что его застудили в роддоме. Она один раз видела, как дети лежали без одеял. Но всё обошлось, малышу оперативно прокололи антибиотики, и через три с половиной недели они были дома.

Вика утонула в материнстве. Только сын занимал её теперь. Все другие темы перестали для неё существовать, только, как ребёнок ел, спал, какал и что сказал врач. Лишь её мальчик, заслонивший собой всё, как приближенный к глазам предмет. Только этот маленький идол, которому она должна была поклоняться, не только подчинивший её жизнь, но и всосавший её в себя вместе с молоком, которое он всё время пил, сладко причмокивая крошечными губами. Жизнь стала тесной, как подростковое платице, в которое пытается влезть взрослая женщина. Она пеленала, стирала, кормила, качала, подогревала питательные смеси. Другие люди проходили теперь в её жизни транзитом, как размытый фон в портретной фотографии хорошего фотографа.

Через месяц после родов у неё началась депрессия. Её всё время клонило в сон. Лишь только её голова касалась подушки, она проваливалась в небытие. Сны были цветные, но какие-то бессюжетные. Мыльные пузыри летали, переливаясь радужной плёнкой, – и бесшумно лопались. Некоторые раздувались до гигантских размеров, и ветер причудливо менял их форму: точно гигантские амёбы плавали под микроскопом. Шары сменялись блёстками на воде: золотые зайчики, купавшиеся в солнечном свете, превращались в багрово-красные пятна на закате, что вскоре становились разноцветными бликами на тёмной воде, родившимися то ли от огней проплывающих теплоходов, то ли от праздничных фейерверков, расцветивающих небо тысячами падающих звёздочек. С новым криком сына она выныривала из небытия, доли секунды вспоминая, где она и почему кричит ребёнок, и шла его кормить или качать. Меняла памперсы или пелёнки. Двух часов сна ей явно не хватало. Глеб спал теперь на диване в гостиной, объясняя это тем, что он не может идти на работу не выспавшимся. Она не протестовала, жаркое тело рядом мешало её краткосрочному забвению. Иногда она засыпала прямо за обеденным столом, где на скорую руку сама перекусывала. Просто клала голову на стол на одну минуточку, чувствуя, как слипаются её глаза, – и исчезала. Очнувшись от короткого забытья, мучительно выходила из оцепенения, искала мутный рассвет, а находила брызжащее в окно солнце, слепящее воспалённые глаза и собирающее пыль в своём луче, точно пылесос.

Всё теперь раздражало её. Гора нестираных пелёнок, с которыми она не успевала справляться; долгие разговоры по телефону домочадцев, которые казались ей непозволительно громкими; мятые спортивные и носки мужа, брошенные где попало; нравоучительный тон мамы. Если она выходила в магазин, то очень боялась, что её собьёт машина – и ребёнок останется без еды. Так именно она себя и ощущала, едой. Иногда она думала: «Неужели теперь вся моя жизнь будет подчинена этому маленькому божку,

сумевшему перевернуть мир моих ценностей вверх дном?»

А бабушка с дедушкой даже помолодели от счастья. Когда они брали внука на руки и начинали умиляться и сюсюкать, она готова была сорваться и закричать: «Лучше бы помогли!» Она как-то обмолвилась маме, что та могла бы и перестать работать, уйти на пенсию и сидеть с внуком, но в ответ получила:

– Это твой ребёнок! Не надо меня запрягать в няньки. Я ещё людям нужна, – и поджатые губы, вернувшие её в свой климактерический возраст.

Она больше не хотела Глеба, хотя по-прежнему к нему хорошо относилась. Ей даже нежность и ласка его были больше не нужны. Они требовали времени и сил, а их у Вики не было. Муж надувался и уходил в гостиную, где орал телевизор.

– Пелёнки лучше бы постирал! – кричала она ему вслед. Тот вздрагивал и сутулился, точно ему снежком запустили в голову.

Безмятежная ясность их совместного сосуществования сделалась менее яркой, полиняла в постоянных стирках и выцвела, как ситец. Ласковое внимание друг к другу то и дело сменялось взаимными упрёками, но упрёки все были какие-то несерьёзные и воспринимались почти как развлечение.

Она стала очень плаксива. Слезы сами непроизвольно выкатывались из глаз, и дальше она начинала ими захлёбываться, кашлять и кидать подвернувшиеся под руку тряпки и мелкие вещицы. Потом успокаивалась – ей точно легче становилось, будто она не грязное полотенце бросила, а груз какой-то, и шла успокаивать ребёнка, заходившегося в плаче. Давала ему грудь, смотрела, как только что сморщенное, будто сдувшийся воздушный шарик, лицо разглаживается, возникает робкая умиротворённая улыбка – сын начинает тихо посапывать. Снова к горлу подступали слёзы. В ней просыпалась такая нежность, что теперь хотелось затискать и зацеловать этот подрастающий комочек её плоти. Тогда она думала: «Неужели я мама?»

Чувствовала себя загнанной лошадью, рождённой для скачек, но которой пришлось возить тяжело нагруженную всяким скарбом телегу – далеко не ускачешь. Совсем перестала интересоваться внешним миром: никуда не ходила, не смотрела телевизор, в разговорах не участвовала. Пыталась читать, но через минуту наваливалась густая и прилипчивая, как гудрон, тьма, неизменно расцвеченная всполохами рекламных огней и лунных бликов на воде. С надеждой думала о том, что, когда перестанет кормить, станет легче. Кормление младенца превращалось в пытку.

Что Вика одевала сына на прогулку, слышал весь подъезд. Как-то во время прогулки ребёнку что-то не понравилось. Он начал кричать и вырываться из тёплого ватного одеяльца. Взяла ребёнка на руки, пытаюсь успокоить хоть как-нибудь и удержать в одеяле. Ребенок проявлял такое упорство и настойчивость, требуя свободы, что укутать его никак не удавалось. Прохожие оглядывались на жалкое зрелище: растрёпанная пунцовая мама, желая защитить своё дитя от мороза и вьюги, крепко прижимает к себе квадратное непослушное одеяло, под которым, извиваясь и визжа, барахтается, будто плывёт, ребёнок.

В три месяца у сына начался коклюш. Подцепили, вероятно, в поликлинике. То, что это коклюш, до Вики дошло на пару дней раньше, чем до педиатра: ребёнок температурил, закатывался в кашле по тридцать раз в день, его рвало до посинения. Их отправили в больницу. Поставили подключичную капельницу в реанимации, другую нельзя было: венки тонкие, не выдержат. Перед операцией ребёнок орал так, что Вика еле удерживалась, чтобы не ворваться в операционную. После операции у сына руки стали как у новорожденного:

«беспорядочные» движения, хочет ударить по игрушке, а ручка в сторону летит... Тимушка пугался, плакал, а Вика стояла над ним и тоже ревела... Лечили сильными антибиотиками. В больнице пролежали целый месяц, мальчик похудел на семьсот граммов. Потом дела пошли на поправку. Кашель кончился. Ручки восстановились, но на правой моторика так и осталась нарушена: какие-то вещи ребёнок делал только левой рукой...

И всё же это был бесконечно счастливый отрезок их жизни. У них был сын!

25

Глеб никогда не жил в такой большой квартире и чувствовал себя вначале неуютно, как чукча, попавший в мегаполис...

Тесть оказался в быту очень простым человеком: компанейским, доброжелательным. Он точно опекал его и старался оградить от пристального взгляда супруги, которая, как все матери, хотела для дочери лучшей доли.

На работе шушукались за спиной – и он всей шкурой чувствовал, что оградил себя герметичной камерой: его не то что боялись теперь, нет, остерегались. Через год после женитьбы Глеб защитился – и тесть, похлопывая его по плечу, говорил: «Ну что? Теперь быстренько докторскую!» Он уже думал о том, что ему несказанно повезло. Жена оказалась тихой, спокойной, домашней девочкой. И даже родившийся сын не вывел её из этого безмятежного существования, хотя она и очень изменилась, неожиданно стала раздражительной и плаксивой. Молодые отцы на работе уверяли Глеба, что с их жёнами творилось то же самое и это скоро пройдёт. Да и сама Вика как-то сказала Глебу:

– Я очень счастлива. Чего ещё в жизни желать?

Они постоянно что-нибудь придумывали, чтобы ребёнок не плакал. Через всю комнату протянули верёвочку, а на ней развесили яркие воздушные шары, разноцветные ленточки. Они висели на разных уровнях над диваном, на котором лежал всеобщий любимчик. На его крохотные ручки и ножки привязали яркие банты. Комната стала похожа на красочную ярмарку, а беспрестанно «танцующие» бантики напоминали необычное кукольное представление. Как ему нравилось! Мальчик сопровождал глазами, в которых зажигались ёлочные лампочки, танцующие шары и бантики, тянулся к ним ручкой, пытаясь оторваться от кровати, и заливисто смеялся смехом, напоминающим журчание весеннего водостока, когда снег начинает так быстро таять, что съезжает с крыш, и около домов натягивают красно-белую тесьму, ограждающую опасные тротуары.

26

Всё чаще Глеб стал допоздна засиживаться на работе, объясняя это тем, что ему надо быстрее набрать материал на докторскую. Вика не протестовала, так как понимала, что отец не вечный, а рядом с мужем-неудачником она себя представляла плохо. С удивлением для себя обнаружила, что муж обрёл способность относиться к ней безразлично. Это безразличие было мимолётно, как запах дыма из печи соседской дачи, но от сна и полузабытья она не могла его пробудить ни улыбкой, ни ласковым словом, ни откровенным прикосновением. За безразличием возвращались приступы взаимной нежности и

удивительного родства душ, когда ясно сознаёшь, что ближе и дороже этого человека у тебя никого нет. Возвращалось желание рабски служить, лишь бы только вызвать ответный порыв. Как пыль, взвешенную в солнечном луче, они замечали теперь множество недостатков друг друга, но это нисколько не уменьшало радости от солнечного дня.

У сына обнаружился дисбактериоз, что, впрочем, было у многих детей её знакомых, и ребёнок плакал, как ей казалось, почти постоянно, с короткими передышками на сон и еду. Участковая заметила отставание в развитии малыша. Это обстоятельство вызвало в семье настоящий переполох, были вызваны лучшие платные врачи, которые отвели страшный диагноз, но страх, что с сыном что-то не так, остался. Вика вглядывалась в орущего малыша и сравнивала с написанным в книгах: ей казалось, что у них всё не так. Вспомнила про больную дочь первого мужа, которая так и росла пока отставшей от ровесников, – и сердце буквально захлебнулось и потонуло в предчувствии. Билось, отчаянно барахтаясь и пытаясь выплыть в ровно текущие воды. Накупили всяких развивающих игрушек и книжек, Вика мучилась от того, что у неё не хватает сил и времени уделять внимание играм с сыном. Когда смотрела на малыша, то тревога не покидала её: казалось всё время, что что-то с ним не так. Снова и снова заводила речь о том, что надо показать мальчика хорошему специалисту. Сын тянулся к ней своими кукольными ручками и мяукал по-кошачьи.

Потихоньку сын начал ползать, а затем и ходить, но говорить – не говорил совсем, даже «ма-ма». Было в этом что-то странное. Вика спрашивала знакомых, почему так, но её все успокаивали:

– Не бери в голову. Заговорит в своё время.

От того, что ребёнок начал ходить и кормили его теперь смесями, легче не становилось. Сын рос очень активным. Он по-прежнему часто плакал, но теперь ещё и не мог усидеть на месте. Открывал все шкафы, просто дёргая подряд попавшиеся на его пути дверцы за ручки. Малыш был точно маленькая подвижная обезьянка, которая так и не начала говорить, но зато научилась сбрасывать на голову кокосы. Дёргал за ручки – и из шкафов вываливались одна за другой вещи: книги, одежда, пузырьки и коробочки – всё это оказывалось на полу в мгновение ока. Хватал со стола бумаги, ручки и папки. Уследить за ним было невозможно. Вика теперь с ностальгией вспоминала те времена, когда сына можно было запеленать и он лежал в кроватке... Ей казалось, что это было самое спокойное время после рождения сына. Если она отрывала Тимура от шкафа, то он тут же начинал плакать, садился на пол и катался, будто кошка, налилавшаяся валерьянки, и орал. Успокоить его могло только одно: взять на руки, прижать к себе и качать. Она тащила его, отдирая от шкафа, к креслу или дивану. Брала на руки и качала. Удерживать его на руках у неё уже не было сил, мальчик тяжелел день ото дня. Как только Глеб появлялся с работы, она теперь бежала к нему со слезами:

– Забери его. Я больше не могу!

Родителей нагружать внуком она боялась: они работали и спасали от многих бытовых проблем, на которые у Вики не хватало ни времени, ни сил. Сидеть с внуком они не хотели, хотя любили его тискать и умилялись каждому его движению, каждому лепету. Да и сил на это после работы у них зачастую просто не оставалось. Отец по-прежнему приходил домой поздно, а мама ещё и готовила после работы на всю их прибавившуюся семью.

Внезапно пожелтела мать. Пожелтела так, что её лицо стало похоже на дыню: такое же круглое, одутловатое, с прожилками зелени. У неё не было никаких болей, но была диагностирована закупорка желчных протоков. Срочно нужна была операция, без неё грозил летальный исход... В сущности, такая операция была сама по себе простой, но все жили в тревоге ожидания неизвестно чего. Прооперировали сразу же на другой день, как привезли маму в больницу, но камень оказался вбитым в печень, её выздоровление затянулось, одно осложнение следовало за другим, наслаиваясь друг на друга. То на фоне простуды начался воспалительный процесс в кишечнике и поднялась температура под 39 °С, то в брюшной полости скопилась асцидная жидкость – и хлынула сквозь незаживший свищ в животе, то вдруг обнаружили воспаление лёгких и плеврит, полученные на больничных сквозняках. Серое, как запылившая бумага, лицо; лиловые, точно у первоклашки, облизывавшего ручку, губы; постоянная одышка и слабость до дрожи в ногах, когда шла по стеночке до туалета.

Они ходили к маме по очереди с отцом. Теперь сын и домашние дела были почти все на Вике. К маме ездил чаще всего отец, иногда, когда он не мог из-за работы, Вика. Навещали её каждый день. Когда Вика отправлялась в больницу, с ребёнком сидел Глеб. Уставала она невероятно. Чувствовала себя водителем, гоняющим по перегруженной трассе которые сутки подряд. Клевала носом и испуганно встряхивалась, понимая, что засыпает и теряет дорогу из виду: серое шоссе сливается с серой пеленой, застилающей глаза.

Тимурка стал не просто орать, когда ему что-то не нравилось, а орать в течение получаса-часа, не переставая. При этом он изгибался, как уж, вырывался из рук изо всех сил, бил ногами в живот, удержать его на руках было невозможно. Он валялся и надрывался в любом месте: на диване, в кроватке, в манеже, – не обращая внимания ни на что вокруг и не реагируя ни на какие слова и действия. И это еще полбеды: при этом он сильно мотал головой и, если в пределах досягаемости было что-то твёрдое, и особенно с углами, он обязательно головой об это бился. Удержать его от падения можно было, только прижав всем своим весом к стене, а он продолжал реветь, выть, вырываться и мотать головой...

Вика сама была на грани нервного срыва и уже не обращала внимания на сына, закатывающегося в истерику, если была на кухне. Зашла, посмотрела: весь красный, как свёкла, – погладила по голове. Волосёнки были липкие и приклеились к лобу, покрытому испариной. Тимоша не переставал заливать. Вика продолжала гладить его:

– Ты мой кисёнок... Тише, ну, тише же! Ведь ничего не болит!

Вдруг заметила, что багровый сын становится нежно-розовым, будто наливающийся соком пепин, но продолжает плакать.

– Ну, что ты, мой зайка? Мама рядом...

Сын белел, щёки его становились как обмороженные.

В прихожей резко зазвонил телефон, пытаюсь пробиться сквозь сирену сына. Бросилась к аппарату, говорила две минуты, сославшись на то, что сын капризничает. Вернулась в комнату – и сердце выпрыгнуло из груди. Осталась одна тошнотворная пустота под ложечкой. Сын лежал синий, на боку, уткнувшись лбом в перекладыни кровати. Бросилась к нему, чувствуя, как слабеют ноги и лоб покрывается испариной. Вся мокрая, будто только что бежала кросс с рюкзаком за плечами, взяла Тимошу на руки, начала его тормошить и качать, подкидывать на руках, разминать холодеющее тельце... Сын открыл мутные глаза, подёрнутые какой-то серой поволокой, как у рыбины, вытасненной из воды, и снова заплакал. Теперь он плакал тихо, точно щенок, жалобно скулил...

– Уу... Уу... Уу...

Начались её хождения по невропатологам. Те утешали её и прописывали ребёнку очередное успокоительное, которое помогало мало. Теперь Вика, как только сын заходился в истерику, бросала всё и бежала к нему... Ушла в туалет, он заплакал, что её нет, потом молчание... и стук. Выбежала, сынок лежит опять синий... И так могло быть по несколько раз в день. Врачи разводили руками и попрекали, что избаловали сына, вот он и капризничает, чуть что не по нему.

Гладила его, чувствуя, как слипаются веки и что сама сейчас упадёт в обморок. Комната медленно плыла, как станция вокзала в окнах останавливающегося поезда.

Тот день, о котором Вика будет со стыдом и ужасом вспоминать всю свою жизнь, день, который мгновенно вьётся в её память, как угольная пыль в кожу шахтёра, был похож на все другие, как шпалы, по которым Вика ехала куда-то, мотаясь в подпрыгивающем вагоне семейной жизни на стыках рельс. Ребёнок весь день капризничал, хныкал и хулиганил: кидал игрушки, пытался попробовать на вкус цветные карандаши и фломастеры, нажимал кнопки на телевизоре, то и дело пугая Вику громогласным вещанием, от которого дрожали барабанные перепонки, выплёвывал манную кашу себе на грудь и на пол. Вика чувствовала, что раздражение поднимается в ней с каждой выходкой сына, словно пыль с просёлочной дороги от проехавшего автомобиля. Она даже заплакала, ощущая себя маленькой беспомощной девочкой, оставшейся вечером одной из всей группы, за которой никак не приходили родители. Казалась себе навсегда забытой и брошенной.

Когда Вика ушла на кухню снимать пену с закипающего куриного бульона, сын стянул скатерть со стола, на котором стояла ваза с живыми цветами, и пока Вика бежала на брызнувший звон разбившегося стекла, умудрился ещё повиснуть на шёлковой гардине с золотистыми травами, как на лиане, так что упал деревянный карниз, оглашая комнату весёлым звоном бубенчиков от съехавших с него колец, который сбросил книги и бумаги с письменного стола, – и комната теперь напоминала нашествие воров, искавших заглянуть во вскрытой ими квартире. Ребёнок сидел на полу в луже разлившейся воды и горько плакал, размазывая грязными руками слёзы, взъерошенный и ставший похожим на чукчу, взопревшего под своей шапкой в аэропорту города Сочи. Она попыталась взять сына на руки и оттащить от стола, но он закатился таким истошным плачем! Растянулся на полу и сучил ножками, точно в судороге.

Что делать, она не знала, сама была готова расплакаться от своей беспомощности. Муж обещал прийти домой пораньше, так как Вика сегодня должна была пойти к маме: отец не мог, у него были какие-то важные гости, но Глеб задерживался, и Вика злилась на него за необязательность и чувствовала, что совсем выдохлась. Раздражение в ней поднималось, как поставленное на плиту молоко, ещё чуть-чуть – и хлынет через край.

Услышав, как хлопнула входная дверь, Вика с облегчением подумала: «Ну, наконец-то!», но зазвонил телефон и Глеб начал обсуждать с приятелем очередные проблемы автосервиса, сменившиеся темой чемпионата по хоккею и игрой нападающего за сборную России. Вика не выдержала – и заорала голосом, в котором звенело разбитое стекло, готовое изранить и изувечить:

– Хватит!

Вика ещё пять минут пыталась отодрать сына от пола и успокоить его, тот продолжал упираться, обхватив руками ножку стола, точно любимого плюшевого зайца, и рыдая с каким-то собачьим поскуливанием. Схватила пинающегося сына в охапку, чувствуя его уже почти неподъёмную для себя тяжесть и ощущая себя будто спасающая тонувшего, которую

тот в полубессознательном состоянии тянет за собой.

Отодрала сына от пола и кинула Глебу:

– На! Забери!

Тимка пролетел мимо взлетевших вверх рук отца, метнувшегося к сыну, и шлёпнулся на пол, укутанный в ковёр цвета выгоревшей на солнце и вытопанной травы, залившись душераздирающими слезами и затопив квартиру звериными воплями.

В больницу к маме Вика в этот день не пошла. Через час на ноге и головке сына образовались огромные гематомы, мальчик кричал не переставая и почти осип. Пришёл дедушка – и они повезли ребёнка в больницу делать рентген. У сына оказалась трещина в локтевой кости, врачи предположили ещё и сотрясение мозга.

Никогда после она не могла найти себе оправдание. Да, послеродовая депрессия и нервный срыв, но как она могла выпустить своего мальчика из рук, когда каждый его чих вызывал в ней необъяснимую глубокую тревогу, выводящую из обжитого мирка, обложенного подушками с райскими птицами? Когда любой подъём температуры у Тимурки вызывал панический страх – и она, никогда не верующая, воздевала глаза к потолку и молила: «Только бы обошлось!» Сколько же в нас тёмных сил, которые вдруг выпархивают наружу, словно чёрный дым из печки, в который брошена пластмассовая безделица, внезапно застилающий глаза? Сколько раз потом всплывала у неё ночами эта безобразная сцена, и сколько раз слышала она от мужа обвинения в свой адрес во время ссор, что постепенно из бурных летних гроз с последующим весенним половодьем, вскипающим весёлыми пузырями в быстрых и вскоре высыхающих ручьях, перерастали в нудные осенние дожди, чередующиеся с заморозками и гололёдом, по которому невозможно нормально идти, а можно только осторожно ступать, боясь упасть и что-нибудь сломать! Сколько раз потом она задыхалась от любви к сыну, ощущая сначала доверчивое дыхание на своей груди, затем прижимая его голову к своему плечу и вдыхая молочный запах детской кожи и волос, пахнувших хвойным шампунем, а позднее с горечью сознавая, что он увёртывается от её ласкающих рук и норовит побыстрее выскользнуть ящеркой из объятий, оставив её в растерянности с переливчатым хвостом в ладонях и наедине со страхом, что она снова причинила ему боль.

Надо бы было задуматься, почему ребёнка невозможно уговорить... Вдруг не слышит? Но он гулил. «Ладушки» повторял, эмоционально хлопал в ладошки. Вика поделилась сомнениями с мамой. «Как тебе такая мысль только могла в голову прийти?» Стали проверять. Издавали звуки голосом, телефоном, игрушками, бренчали посудой, включали радио, вынесли на улицу, где шумит транспорт. Невозможно понять! Голова – туда-сюда, глазёнки любопытные – всюду всё замечают. Так продолжалось несколько дней – Вика проверяла, наблюдала и носила беду в себе. Ребёнок, как положено, проходил профилактические осмотры у врачей – и у ЛОРа, и у окулиста, и у хирурга. Все они писали «здоров». Вика успокоилась, но ребёнок не поворачивался на громкий звук, хотя и непрерывно крутил-вертел головой во все стороны, как маленькая юла. Вика уговаривала себя, что ей всё показалось, отодвигая страшное. И снова с утра до вечера проверяла, наблюдала, не сводила воспалённых глаз с сына. Да – нет, нет – да. Проблеск надежды, как

золотой луч выныривает в просвет набежавших и темнеющих на глазах облаков, – сомнение, отчаянье – опять надежда, что показалось... Поделилась с родными. Мама сказала: «Не делай из мухи слона!», Глеб – что она фантазирует и у неё психоз, отец настороженно молчал. Но в доме поселилась тревога. Она выглядывала из всех тёмных углов, нечленораздельно мычала и ожесточённо жестикулировала глухонемой гостьей. Сознание нависшей беды стучалось в дом первыми крупными градинами величиной с виноград. Они делали вид, что не слышат, и успокаивали себя, что градины быстро тают.

Мальш никак не мог начать говорить. При этом он смеялся и махал ручками, как птица, собирающаяся взлететь.

[Купить полную версию книги](#)